

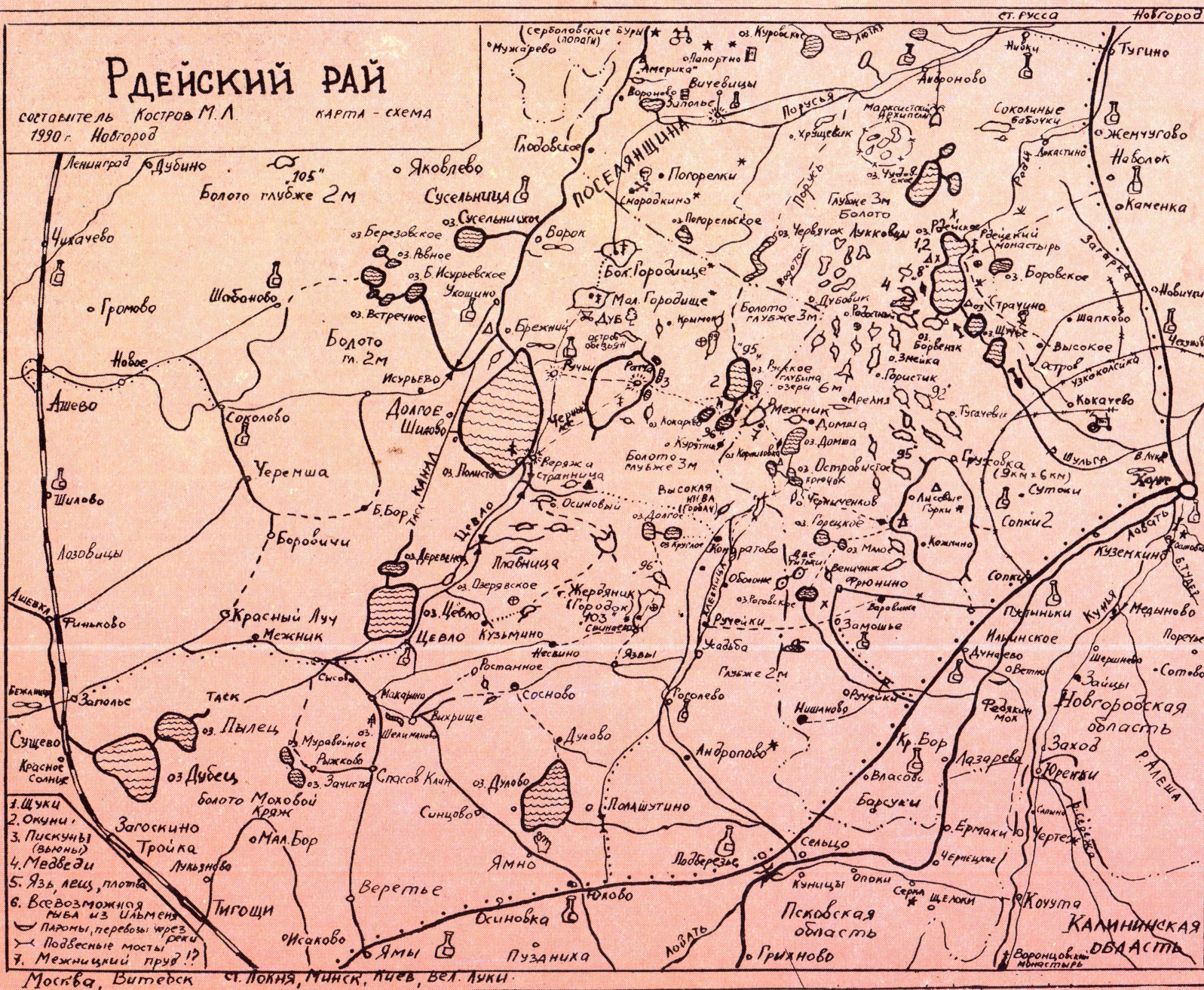
У Р А Л Ь С К И Й
СЛЕГОНЬМ
ISSN 0134 - 241X URAL STALKER 5-6'1994



РДЕЙСКИЙ РАЙ

составитель Костров М. Л.
1930 г. Новгород

КАРТА - СХЕМА



- 105 метра - уровень над футштоком Кронштадта
- самолет, убитый в мае в 1943
- Предполагаемые кладбища (Богодновскую)
- Полонна затопил грузовиков
- Броненный трактор
- Инейный комбайн
- магазины
- Места, где чудится
- избы, шалаши
- сухие горышки (пятаки твердой земли)
- Карлашанская СИТА
- тропы твердые
- трепоги маяки
- Лампочки Члвчч
- керосиновое освещение
- Аэродромы
- мосты
- заброшенные библиотеки
- граница между областями
- тропы топкие
- водяные бугры, выходящие из-под мхов
- хлад в колодце
- остров с которого виден монастырь Вал Юрий Казаков
- места, где ночью слышатся голоса
- места, где ночью слышатся голоса
- остров, где сторонники социализма смогли продолжить его строительство
- Погорелки - дикитные деревья
- Места, где поставлены памятники бойцам, погибшим за освобождение Рдейского края. Теперь за ними некому ухаживать.
- Безрыбные озера (Фиг.) Рыбный обтобус

1. Щуки
 2. Окунь
 3. Пискуны (вьюны)
 4. Медведи
 5. Язь, лещ, плотва
 6. Всевозможная рыба из Ильмена
 7. Межницкий пруд
- паромы, переборы через реки
- Подвесные мосты

Москва, Витебск, ст. Локня, Минск, Киев, вел. Луки.

УЧРЕДИТЕЛИ —

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ РФ,
ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ЖУРНАЛА

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1935 ГОДУ,
ВОЗОБНОВЛЕН В 1958 ГОДУ.

РЕДАКЦИЯ:

Виктор КЛОЧКОВ
(главный редактор),
Виталий БУТРОВ,
Юний ГОРБУНОВ,
Мargarита ГОРШКОВА
(художественный редактор),
Герман ИВАНОВ
(заместитель главного редактора),
Андрей ПОНИЗОВКИН,
Юрий ШИНКАРЕНКО,
Нина ШИРОКОВА,
Леонид ШУНЯЕВ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Виктор АСТАФЬЕВ,
Владислав КРАПИВИН,
Станислав МЕШВАКИН,
Николай НИКОНОВ,
Олег ПОСКРЕБЫШЕВ,
Борис СТРУГАЦКИЙ

Компьютерная верстка:

Галина ЦВЕТКОВА

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
620219, ЕКАТЕРИНБУРГ,
ГСП-353, УЛ. ДЕКАБРИСТОВ, 67
ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ:
223-662 (ФАНТАСТИКИ),
224-501 (КРАЕВЕДЕНИЯ, СЕКРЕТАРИАТ),
220-481 (ПРОЗЫ И ПОЭЗИИ,
ПУБЛИЦИСТИКИ, НАУКИ И ТЕХНИКИ,
МОЛОДЕЖНЫХ ПРОБЛЕМ)

Рукописи принимаются перепечатанными
на машинке через 2 интервала, 60 знаков
в строке, 28-30 строк на странице.
Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.

По вопросам подписки и доставки
обращаться в районные отделения
«Россвязьинформа»

Бракованные экземпляры отправляют
в Чеховский полиграфический комбинат.

Подписано к печати 11. 03. 1994.
Формат бумаги 84×108/16.
Бумага типографская № 2.
Офсетная печать.
Усл. печ. л. 101.
Уч.-изд. л. 12,4.
Усл. кр.-отт16,82.
Тираж 50 000 экз.
Заказ № 252.5
С.-5-6

Отпечатано на Чеховском полиграфическом
комбинате

142300, г. Чехов Московской обл.

На 1 и 4 стр. обложки слайды
Н. ПЕРЕВЫШИНА и Р. ПОМОРЦЕВА

У Р А Л Ь С К И Й
СЛЕДОПЫТ
U R A L S T A L K E R

В НОМЕРЕ: 5-6/1994

Рдейский рай Марк КОСТРОВ	2
Малуша-любечанка Юний ГОРБУНОВ	15
Я — мгновенье и вечность... Стихи Татьяна ФЕДОРОВА, Елена ИЛЬИНА	18
Бронзовый мальчик. Роман. Часть II. Окончание Владислав КРАПИВИН	19
История "кровожаждущего" архимандрита Сергей БЕЛОБОРОДОВ	41
Краеведческая копилка	45
Журнал в журнале "Аэлита"	
Закон равновесия Сергей ДРУГАЛЬ	49 (109)
Свет и кровь Галагара Конрад ЛИНЦ	59 (119)
Таинственный высокий дом в тумане Говард ЛАВКРАФТ	78 (138)
Заочный КЛФ	83
Злоключения твердого червонца Александр ДМИТРИЕВ	85
Что в имени твоём, вершина Владислав КАРЕЛИН	88
Театром единым Людмила ДЪЯКОВА	89
Мудрому слову цены нет Анатолий МАКЕЕВ	93
Гавайская гитара Виктор ПОПОВ	94
Мир на ладони	96

РДЕЙСКИЙ РАЙ, или попытки конструирования земли обетованной

(ИЗ КУХОННЫХ РАЗРАБОТОК)



Мокроступы

На стыке трех губерний: Новгородской, Псковской и Тверской вольно расположилось огромное, тридцать на сорок километров, Рдейское верховое болото. Шагаешь по нему на болотоступах и словно с горы скатываешься: на-шлепка Моховщины в 15—20 метров высоту шапкой вздымается над материковыми, окружающими свободный мир, кособокими деревушками.

Да, да, свободный и от колхозов — когда-то системе так и не удалось из-за непроходимых топей объединить острова, на которых жили жихари

Рдейской Чисти; и от фашистов — вокруг Болота бушевала оккупация, а внутри его жизнь текла, как хотела, как повелела ей Эволюция, медленно в основном по-старому. Даже такую мелочь, как перестановка времени на час вперед или назад, не смогли депутаты внедрить в крае. Правда, иногда власти понимали своеобразие неповторимого мира: так, например, царское правительство еще и до Столыпина, отпуская солдат после службы по домам, награждало желающих землями на болоте:

ты славно, воин, потрудился на благо Отечества — живи теперь безналогово на островах.

Но чаще и цари, и современная структура жалости к переселенцам не проявляла, поэтому от наших бюрократов помощи тоже не жди. Занимай землю самовольно. Как только наберется вас энное количество, извлеки недалеко от Замошья, согласно приложенной карте, увязший с войны танк, в Кожмино приведи в порядок стоящую там сорокопятаку, ну а винтовки-патроны найдешь в бывшем партизанском становище Соковье. Если же ты туляк или из Ижевска, мне и советовать ничего не придется. В левом углу Полистовья, за Андроновом, опустилась во мхи колонна застрявших грузовиков. В ней добудешь рацию — посылать "sos" и обращения к передовым людям всего земного шара.

Но, повторяю и буду повторять, что, порывая с прошлой жизнью, помни, что для тебя более не существует городских конгломераций. Поэтому никаких экивоков в сторону правительства не делай и постарайся не попасть на крючок разным обещателям, — сколько заверений мы уже слышали! Если ты не уйдешь в Рдейское подполье (кто-то покидает родину, а ты вот засядешь в Болото), на материке предстанут тебе долгие годы, а может и десятилетия становлений, путаницы и неразберих. Может случиться "русский бунт бессмысленный и беспощадный" — тогда острова Моховщины укроют тебя от люмпена и черни в лесах и болотах.

На первых порах, дорогой переселенец, тебе придется туго. Кстати, землянка размером два на два метра роется за день. Два лежачка, которые ты потом застелешь сеном, вместо люка послужит лоскут пленки, а в головах на уступе разместится печка из какой-нибудь жестяной банки.

Коней попытайся найти сам. Однажды мне встретились две полудиких белых лошади, как бы уже снова лошади Пржевальского, отпущенные на свободу одним сердобольным председателем, не пожелавшим тружениц сдавать на мясокомбинат. В одном окрестном колхозе был случай, когда непоенные из-за божественного праздника Пасхи, наступившего сразу после Первомая, бычки, сговорившись, навалились на ограду и разбрелись по всему Полистовью. Может, тебе доведется встретиться с их потомством.

Конечно, в дальнейшем будет нужен трактор. От этого ты никуда не денешься. Найди его согласно отметок на карте: Т-25 завяз в болоте за Карабинцем, комбайн стоит у Большого Городища, еще один трактор, забыл его марку, ржавеет

за островом Кокачево. Говорят, лежит за Рдейским озером, за Карлашанской Ситой самолет. Его сможешь тебе указать сын Марии Федоровны — Геннадий, последний из могикан деревни Высокое.

Для летних передвижений тебе понадобятся болотоступы (их фотографии напечатаны в "Ветре странствий", и "На суше и на море")¹, и конечно, болотоход — мотоход — мотоциклетный мотор, помещенный среди огромных конверсионных туполевских полунадутых камер, численностью в шесть штук. Тогда тебе сам черт не страшен. По топям такое сооружение может продвигаться и вплавь. Чертежи его в свое время публиковал журнал "Конструктор".

Если срубить дом тебе самому будет не под силу, зимой с помощью трактора ты перевезешь из любой заброшенной деревни по окружности Болота или с забытых людьми островов, выбранный по своему вкусу, сруб. Мой тебе совет — большими размерами домов первоначально не увлекайся, послушай рассказанную мне старожилками на Межнике полулегенду. В конце девятнадцатого века царское правительство решило свое обещание о налогах взять обратно — послало в Рдейские края землеустроителей. Межник как раз и был ими разделен на две части (потому и Межник) — одна часть острова отошла к Пскову, другая — моим землякам, новгородцам. До сих пор еще межа просматривается. Ею и пользовались несколько лет, играя на нерасторопности властей, жихари, перекачивая с помощью ваг и бревен-катков домики через границу и объясняя представителям той или иной губернии, что они не их, а тех...

Бюрократия всегда была неповоротлива, что и помогало найти для себя выгоду.

Моя маниловская мечта: каждому острову — самостоятельную, по душе тебе подходящую жизнь. У кого-то трактор и добытая неизвестными путями бензопила "Дружба", у кого-то набор чанов для дубления кож, а у кого-то, как у меня, лопата. Ею на целый год обеспечил себя продуктом на острове Межник при Русском озере².

При Рдейском же озере, если кто захочет, может восстановить монастырь — коробка его с нашу новгородскую Софию с пятью березами и более мелким подлеском на крыше, сохранилась отлично. Ну а три самодельных кирпичных заводика неподалеку придется восстанавливать заново. Только земляные холмики указывают их местонахождение.

И вообще, когда пойдешь на разведку в эти края, заберись на купола обители, глянь на кра-

¹ № 16-81 и № 22-82

² "Большие Свороты", см. в моей книге "Житие на острове Межник", М., 1990

соту, раскинувшуюся у твоих ног, уверен, — сразу согласишься на переселение. И особых материальных трудностей при этом я не предвижу, ибо полистовские болота — это золотой край, земля обетованная. Одних сушеных беляков по надцать тыщ, с учетом индексации, рублей за килограмм мешками повезешь, чтоб встать на ноги, к ресторану "Метрополь". А клюква! Она обернуться может и валютой, если ты сдашь ее зимой перекупщикам, точнее, оптовикам, или найдешь в себе силы отправлять ее с ухошинского или ручьевского аэродромчика на материк, к примеру, за границу — в Одессу. На ругань горожан не обращай внимания — настала пора сельчанину пощипать гегемона. Меньше всего думай о горожанине — все придет в равновесие, все утрясется само собой.

Подумать только: полмиллиона беженцев в растерянности бродит по стране. Турки-месхетинцы, армяне, жители радиоактивных зон, азербайджанцы, каракалпаки с Арала, русские работяги, евреи... Может, кто и задумается о моих предложениях по переселению в Рдейский рай?¹ Даже капиталистам, словом, всем желающим выдает визу интернационалист Костров, не смотря на нацию и ("нет ни элина, ни иудея") вероисповедание: славянофилам и западникам, сокращенному аппарату, демобилизованным офицерам, членам КПСС, рубашечникам разного толка — всех, вплоть до полпотовцев с их сорбонскими теоретиками, перемелет настоящая троглодитская, неандертальская жизнь. Ну хотя бы лет этак за сто, чтобы был потом не земле сохранен генетический банк для будущих поколений, как бы повтор "Ноева ковчега".

Как-то в своих скитаниях по Рдейскому краю на Мокром острове (есть вот такие места на Болоте, к которым почему-то подходишь с опаской) случилась странная встреча. Возвышенность хоть и была выше Болота на полметра, но вся и в самом деле мокрая — в ямах, провалах, сочилась водою, и негде было стать на привал. Я решил, хотя дело клонилось к вечеру, покинуть ее. Не оставляло чувство, что кто-то следит за мной. Уже на выходе, на мысу острова, оставалось каких-то десять метров до мхов, вдруг треснул над головой сучок... Я поднял голову: на меня с лохматого старого дуба смотрели человечьи глаза. Я оцепенело глядел в их круглые немигающие зрачки. Вдруг существо как-то странно пискнуло, переметнулось с сучка на сучок, закачалось на од-

ной руке и исчезло (см. мою статью в "Ветре странствий" № 16-81).

Только в городе все прояснилось: несколько обезьян сбежали от ученых, которые занимались их акклиматизацией в Псковской области. Приживутся ли они самостоятельно на островах? Как перенесут зиму? Все это пока в стадии эксперимента.

Зато с какой радостью встретил я на другой день на огромном плоском острове пастухов-молодежен, слушал их человечью скороговорку! Плечом к плечу стояли муж и жена около вагончика. Он — курчавый, похожий на Пушкина, она — голубоглазая, тоненькая.

Они со станции Локня. Решили не дожидаться квартиры от государства, присмотрели домик, теперь вот пасут телят. Очень довольны своим медовым месяцем.

Свободный труд, воловий труд, а значит, и подъем экономики, то есть в конечном счете прекращение национальных распрей, вот выход из создавшегося тупика.

Карту, если мне в издательствах откажут в ее перепечатке, готов выслать наложенным платежом².

В схеме будут указаны не только удобные для поселения острова, но и отмечены, повторяю, места скопления бесхозных комбайнов, тракторов, хотя в дальнейшем мне видится жизнь только эколого-уравновешенная, лошадно-дровяная. Даже газету края предполагаю выпускать не на бересте — дерево надо беречь, — а на оттиснутых и после обожженных глиняных табличках. Глянут люди через миллион лет в недра земли, и мы, а не только шумеры, отпечатаемся в их памяти.

Для начинающих, насмотревшихся "Сельского часа", экзальтированных горожан, я бы рекомендовал что-нибудь недалеко от цивилизации. Куда можно легко добраться и если не понравится трудное на первых порах житие, если от необычных забот придет скорое разочарование, так же легко поселенец мог бы выбраться на материк. Таких новин в Полистовье несколько. Например, "Две титьки" — два островка, словно, огромная великанша когда-то рухнула навзничь и почти вся скрылась подо мхом.

Зимой, помню, шел я мимо них в сторону Межника и вдруг прихватило сердце. Огромное сосновое корневище на месте соска дыбилось к небу, под ним я жег костер, жмурясь на мартовском

¹ См. приложение — карту Рдейского рая и читай книгу И. Д. Богдановской-Гиенейф "Закономерности формирования болот верхового типа на примере Полистово-Ловатского массива" ("Наука", Ленинградское отделение, 1969), а также М. С. Боч, В. В. Мазин "Экосистема болот СССР" ("Наука", 1979) и мои книги: "Рдейский край", "Русское озеро", "За счастьем на озеро Дулово", "Большие свороты", изданные в "Советском писателе", "Современнике", "Лениздат". Самая же лучшая книга о болотах — Г. А. Елиной "Многоликие болота", изданная в той же "Науке" в 1987 г. и моя статья в "Юности" № 3-91.

² Мой адрес: 173014, Новгород, ул. Хутынская, д. 6, кв. 45, тел. 3-30-14.

солнце. А воды для чая набирал не снеговой, а из живого милого ключика, что тек, не замерзая, между двумя холмами, впадая ленточкой в то место, где лобочку у великанши быть — в Роговское озеро.

Еще помню, отойдя, отдохнув, бросил в промоину блесенку и выдернул из нее пястку красноперых окуней на уху, и мартовское солнце, жмурясь, смеялось надо мною.

Позже мне жихари Фролина, деревеньки в четырех километрах от озера, расскажут о целебности его воды, о том, что они иногда для самовара нет-нет да и сбегают за его кристальной водицей. Безо всяких там Чумаков и Кашпировских вода годами не портится.

Летом же я добирался до этих двух островков на надувной байдарочке от замощья по канаве-копанке. По ней вы даже сможете, как это делают хитромудрые клюквособиратели, в молочных бидонах сплавлять цугом, буксировкой и свою главную добычу — клюкву. Поэтому резиновую же лодочку под названием "ласточка" я переоборудовал под распашные весла — и в скорости выигрываешь, и время в пути сокращается, а зеркало переднего обзора на голове, как в кабине автомашины, помогает не вихлять в движении, спрямлять расстояние в светлое рдейское будущее.

Другое поселение для начинающих новичков, хотя и в восьми километрах по прямой от Фролина-Замощья (автобус от Холма), но уже в Псковской области. До Гоголева от Локни (железная дорога) вы также доберетесь на автомашине, может, и до Язвов доедете (см. карту), а далее черной, налитой до краев вязкой дорогой, побредете на Свинаяево — огромный, по сравнению с Шорухайскими титьками, так их зовут, два на километр остров. Там когда-то была утлая деревенька Свинаяево, а теперь стоит только чей-то вагончик с печкой, как подвесками в люстре, весь усыпанный ласточкиными гнездами. Их понять можно: жили не тужили при домах и сараях, и вдруг их не стало, вот они и облепили стены последней сараюшки своими постройками.

Удивительный был сон у меня на Свинаяево под щебетание и журчание застенных птах, потом заскрипел дергач — до сих пор помню ту вечную ночь. А еще вагончик был сплошь окружен зарослями травостоя. Когда-то, после разгрома деревни, пасли в этих местах скот теперь вот осталась от тех времен аллея медноствольных, тысячетных осин, и на унавоженной, раскопыченной земле ковры удивленно раскрывших глазища белых ромашек. И еще в полукилометре от вагончика в

сторону захода на озера Долгое и Круглое наткнулся на огромный — в пол-избы — угловатый камень, якобы, по слухам, метеоритного происхождения, но постепенно весь обколотый жителями округи для своих нужд.

Вы заметили, мой будущий переселенец, что я стараюсь вам предлагать места обязательно при воде, но не только для того, чтобы в трудные дни становления на новом месте вас выручала невеликая рыбка, как это было со мною на острове Межник, а и для разнообразия жизни и отдыха в твоей Рдейской Чисти. Хотя бы для того, чтобы ты со своею семьею мог покататься на лодочке по своему закату озеру.

С Межником же получилось так, что однажды, после пары статей Ильи Фонякова в "Литературке"¹ в защиту моей изобретательской деятельности мне пришлось из Новгорода бежать, и я целый год прожил на Болоте, в первые весенние месяцы, пока не вырос огород, питаюсь в основном окунями, ну и еще сморчками. Ставил в протоке между озерами Межник и Русское мережу, и рыба вваливалась в нее в изобилии. Вот бы какому-то бобылю поселиться на Гормыльке, крошечном, в полсотку, островке при моем заколе! Кто-то будет заниматься на ближайших островах животноводством, кто-то землепашеством, а он бы снабжал их зиму и лето из незамерзающего, как Гольфстрим, ручья фосфором. И тот же остров Межник в полчасе ходьбы от Гормылька.

Ордер озер Русского, Межницкого и Кокарева, расположенный в центре болотного Полистово-Ловатского массива, так официально именуется моя Рдейщина, находится на самой высокой точке Болота, на отметке над уровнем Балтики в сто метров, то есть ближе всего к солнцу в нашем Нечерноземье, а потому ягоды вокруг Гормылька — морошка, брусника, черника — будут самые ранние, и если тебя рыба не сможет прокормить, то мой совет — добывай первые обменные товары через чернику. Суши ее на печи, сдавай за обрезом мхов в аптеки, но только, умоляю тебя, не пользуйся в Крае ягодным комбайном. Черника гибнет после того, как ты пройдешься по мхам этой грабительской железкой через два года, клюква, недавно установил, через шесть-семь лет. Земля-то вокруг тебя теперь будет твоя, и болота вы поделите между собою, чтобы затем ревниво следить за разными разбойными временщиками-собирачами на вашей территории.

Может даже со временем, обогатившись, как в Канаде, займетесь клюквосеянием. Вот тут уже вам настоящие экологически-обоснованные меха-

¹ № 16-78 "Хочу, чтоб вещи были добрее", № 35-86 "Пусть светит" и др.

низмы для сбора ягод понадобятся непременно. То есть начнете жить по принципу свободного рынка: на что на Материке спрос, то и будете сеять в вашей маленькой, а позже автоматически создавшейся большой конфедерации. Ведь наступит в стране время, когда такие же края — их в стране легион, одних только разоренных деревень по статистике около двухсот тысяч, — тоже будут заселяться прозревшим, голодным горожанином — вчерашним крестьянином. И у каждой округи, региона найдется что-то объединяющее их: болото, горы, степи, язык, разоренная мелиораторами местность, вера, климат, ненависть к поработителю, и все вместе они — конфедерация. Торгуют, поставляют друг другу комплектующие изделия, например, у одних липы растут, а другие умеют хорошо плести лапти — значит лыко. На Запад везут клюкву, грибы, мясо, масло, рыбу... Особенно, уверен, будет цениться с озера Полисть сушеная шемая — вкуснее забеленного сметаной и пропревшего в русской печи супца я не едал. И еще, естественно, пискуны — огромные, со ствол ружья вьюны, что ловятся в металлические сетки-нороты в пронницах, протоках под болотными островами. И, естественно, раки — большие по пять долларов штука, а маленькие по три. Их мы будем отправлять на материк "Аннушками", или как гусей, как когда-то наши предки, подстегивая прутиками, погоним по сырым мхам на Запад — вот тогда и заживем.

Я лично еще не решил, какую мне нишу занять в Рдейском крае: скорее всего стану все же сапожником¹, а не рыбаком, или землепашцем. Буду бродить по болотным жилым островам с сапожным инструментом, поочередно ремонтировать переселенцам обувь. Последнее время у меня очень качественная технология резиновой обуви получалась.

Рыболову же края советую ставить изобку на Гормыльке (см. карту). И еще прошу: будешь рубить домишко, заводить невеликий огородец при ней, не руби сосны вокруг себя и Межницкого озера — за южным обрезом его вод. В полукилометре от берега есть бор, вот с него и возьми два десятка полноценных стволов. Уж как-нибудь стрелой их зимой или займи коня в Ратче — деревеньке в пяти часах ходу от твоего пупыря. Там еще теплится жизнь, и на "три дымка" имеется шесть полудиких лошадок. Так, на всякий случай держат их сельчане: вдруг заваруха какая завяжется на Руси...

Ну а если ты рыбак "сурьезный", то селись лучше на главном озере края — озере Полисто. Для

этого нужно по железной дороге Витебско-Ленинградского направления доехать, но обязательно с байдаркой, до станции Сущево, далее на автобусе по асфальту до поселка торфяников Цевло и, спустив лодочку на воду, плыть по речке Цевелке к вышеуказанному озеру. Уже на десятом километре и почти при впадении реки в Полисто пойдут по правобережью, по речкам Плотница и Странница недалеко от их впадений в Цевелку, острова. Особенно хорош и романтичен для жития остров Осинник на Страннице. Хотя я бы его переименовал на Корабельный, что ли. Он весь состоит из песка и строгих огромных сосен. Помню ночевки на острове. В палатке, потом в вытащенной из воды байдарке, бесконечный ночной страх — и не от того, что однажды утром я обнаружил недалеко от моего кострища медвежьей автографы. Что-то экстрасенсорное витало в воздухе...

Об этом кусочке земли ты можешь порасспросить у Дуси и Васи Горавецких. Они-то и рассказали мне, что холмик не терпит одиночных поселян — ему подавай семейную фермерскую парочку. Оказывается, и острова на Болоте имеют — каждый — свой характер.

До деревеньки Веряжа, где живут эти сельчане, всего час ходу от Осинника. У них ты даже сможешь купить молока и меда, а в дальнейшем разжиться и пчелиным роем — колоды у веряжцев старинные из длинных долбленых бревен. Но главное, конечно, не грибы-ягоды и даже рыба — они начальный этап бескредитного зацепа, — а земля и твоя с ней дружба. Но имей в виду, жи-хари о которых я пишу, — все люди пожилого возраста или мечтающие переселиться, как, например, Санкт-Петербургские горожане к нам в Новгород или Псков, в более надежные места, крупные поселки типа Цевло. Поэтому ты всегда сможешь купить за бесценок срубы домов. Это даже и к лучшему, ибо, повторяю — в деревнях, хотя и брошенных, селиться неостолыпинцам не советую. Для вас в нашей системе подойдет только ничьи острова.

Да, чуть не забыл, еще за островом Корабельным по левую уже руку Странницы, двигаясь вверх по течению, в одном из заливчиков встретишь изобку с полусгнившими сетями, такую таинственную и замшелую — нечто кержацко-староверское, что об этом шалаше ничего не знают даже супруги Горавецкие. В ней, может, на первое время ты и поселишься...

Если же захочется простору, все же долина Странницы, — хотя в своем пути в Рдейский край и уходит в бескрайнее болото, и клюкву-веснянку

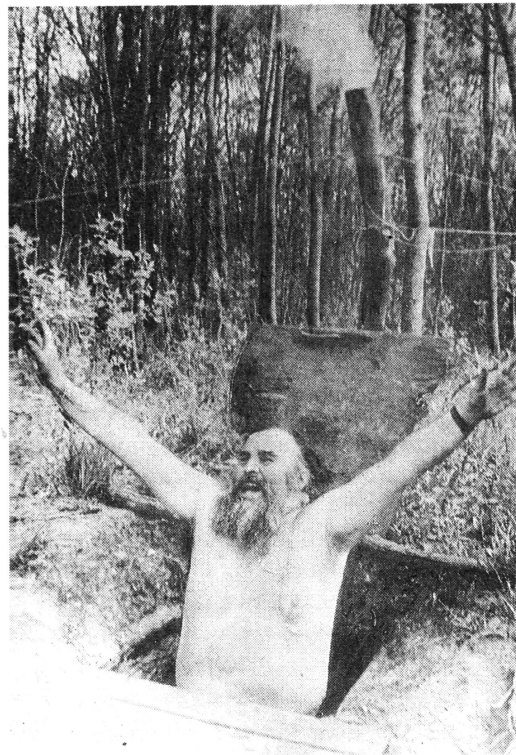
¹ Дед мой Поплий Васильевич Капустин держал большую сапожную мастерскую в Санкт-Петербурге, а для души на общественных началах был старостой церкви "Кулич и Пасха" при Обуховском заводе, ныне заводе "Большевик".

я собираю прямо с лодки — в месте расположения острова сужена, то советую зацепиться за западный берег Полисто. Там, где начинается река Полисть, севернее покинутой людьми деревни Шипово, приткнулся к самому берегу окруженный с тыла каналом и клюквенными болотами, покрытый шелковистой травой-муравой с редкими сорокалетними березами, гектаров на пять бугор по названию Брежний. То есть то, что надо однодворцу. Напротив него, на восточной стороне стоят Полистовские Ручьи с аэродромчиком и магазином. Правда, не могу сказать, что можно будет купить у Зои? Ламповых стекол если? Их завезено было еще после первой мировой войны, когда существовала дорога в эти края, десяток тысяч и все каких-то царских, небьющихся. Нынешние завозы товаров нерегулярными "аннушками" очень и очень мизерны. Может, осенью тебе и удастся мешок муки выпросить, но лучше надеяться на лодку и поселок Цевло, в котором последние годы установлены в магазине хлебные дни. Передай в таком случае от меня привет Саше и Вале Федотовым — шоферу и секретарю сельсовета.

А посему надейся в основном на свою силу, ловкость, сметку и моли бога, чтобы у власти в стране подолее стоял кто-то один. Надейся на сети, которые будешь ставить в камышах у подножья бугра, а свет добудешь ветряком — видел однажды такой, из двух надрубленных и поставленных друг на друга бочек. На грибы и ягоды: не только клюквой богат берег, но и чернично-брусничные заросли будут окружать твоё пристанище сплошными коврами. Да и орехи, малина, земляника не редкость в крае. А на Полисти, как и на канале — раки. Вадим — мой сын — не даст соврать. Он теперь, оставив позади черные армейские будни, снова бредит Болотом — вспоминает, как мы с ним еще в его детстве ловили раков недалеко от бугра, чтоб тут же в кипящем котелке превратить в редкий деликатес. Ну а картошки купишь в деревнях — ее нарастает по восточному берегу озера столько, что весной излишки жители выбрасывают на улицу для "украшения" дорог. Говорят, последнее время они освоили самодельные дрожжи, и уже картофель не выбрасывают. Но это только слухи — сам в этом вопросе, пожив какое-то время, разберешься.

Дело в том, что кроме лопаты, кос, топора, как я уже говорил, надо брать с собою сетку, а лучше изучить ее плетение, но... Всегда и всюду у нас "но". И в Рдейский край могут нагрянуть инспекторы, а "плату" ты еще не освоишь, а потому, по своему опыту, даю тебе совет.

В тот год я жил на острове Горки Новгородские под самым городом в землянке, а мой зять Вова



Оптимист

Аксаков, он родом из бесхлебного рабочего поселка Пролетарий, учил меня браконьерству. Для этого вбивают в дно водоема колья так, чтобы они скрывались под воду, и по мере спада уровня реки вколачиваются далее к центру земли. Если же они упрутся в какие-нибудь там граниты, подпили их ножовкой. А чтобы пеньки не белели, не выдавали своего местоположения бюрократу — инспектору в основном из отставных замполитов — прикрепи к торцам по пластинке коры или замаскируй их водорослями и тиной.

То есть советую тебе некоторое время продолжать в чем-то убогую и серую жизнь материка. Не сразу дело делается, не сразу обзаведешься рацией. Будут отбирать у тебя размаскированную ловушку — отдай, не сопротивляйся и плети, плети новые сети. В дальнейшем же сей для этих целей коноплю и лен. Нет, лучше один лен, помни о светлом будущем нашей республики имени Кострова. (Я не буду возражать, если ее так назовут, но только после моей смерти.) Я же, со своей стороны, обещаю быть координатором, откликаться на твои запросы, распределять навечно среди желающих поселиться в Полистовье острова, отмечая занятые пупыри галочкой.

Но продолжаю описание моего Полистовья да-

лее. По реке Полисти, что начинается на нашей болотной возвышенности, полноводной и плавной, по левую руку четвертого километра, увидишь уходящий вдаль и прямой, как самолетный след в небе, канал. В начале его, на мысочке стоит удивительный соломенный то ли домик, то ли шалаш. Изучи обязательно его толстые сенные стены, меж рядами вбитых в землю кольев и такую же пухлую крышу — вдруг придется очутиться в каких-нибудь экстремальных условиях. Особенно умиляет печка из жестяного ведра, труба, связанная из разнокалиберных консервных банок и пропущенная для несоприкосновения с сухой травой через, с тележное колесо, глиняный блин. Кто строил это пристанище? Бомжи? Одинокий рыбачок? Бесприютная семья беженцев? Всем Рдейский край готов предоставить убежище.

Канал же, Шиповский канал, огромными стволами черного леса — ольхой и осиною, почти смыкается в верхах, и в тихих водах его удивленные щуки, урочаясь под килем твоей байдарки, неохотно уступают путь первопроходцу. Вряд ли по нему когда-то плавали туристы — он через 12—15 километров, немного не дотянув до речки, впадающей в озеро Дервянец, кончается.

По рассказам старожилов — по каналу, еще до быстрых колес, предполагалось освоить через Ашевку, Сороть и Великую путь из Новгорода в Псков, а если быть стратегичнее — путь из наших новгородских варяг в их прибалтийские.

А ведь наступит, дорогой поселенец, такое время, и скоро наступит, что придется полистовчанину вернуться к речным путям. И дело не только в энергетическом кризисе, не вечно же ты будешь жить замкнуто, обустроишься, поднимешь экономику, чтобы вновь глянуть на мир божий. И тогда воды Полистовья будут к твоим услугам. Например, по Хлавице поплывешь на юг, чтоб через Западную Двину попасть в Днепр и далее в "греки"; по Полисте и Порусье, на север — захочется тебе попасть в Вологодскую губернию и далее в Архангельск и Норвегию — пожалуйста, в твоём распоряжении речка Шульга, ты же из свободного Рдейского края! В Персию тоже можно пробраться через Ильмень и Мсту.

Иной раз выйдешь на берег Волхова, в весенние мартовские дни, смотришь, как особенно стремительно прибывает вода в реке, какие ураганы, ранее невиданные, возникают окрест, и в голове роятся мысли: все эти стенания о гибели старинных домов, срочном безотлагательном восстановлении храмов, споры Петросовета с мэрией, критика дамбы и так далее и тому подобное — все это ка-

кая-то детская игра в сравнении с надвигающейся катастрофой на Петроград-Ленинград и другие прибрежные скопища мира (кстати, в Америке уже перестали застраивать криминогенные берега), и только Рдейский край — пупырь всего Нечерноземья, с которого на все четыре стороны света скатываются реки — не устану всем сообщать — и есть та земля обетованная, тот Ноев ковчег, что даст нам возможность создать спермосупербанк данных для восстановления жизни на земле.

Но продолжаю свой путь по Полисти. Минувя две деревеньки — Ухошино и Борки, аэродромчик меж ними, где избушка аэропорта притулилась к самой воде, то есть псковичанам через Бежаницы (Сушево) выгоднее всего добираться в эти места самолетом, ты попадешь в Новгородскую область, в деревню Глодовскую, где отсутствует электричество. Поэтому ламповые стекла "от Зои", в селекции очень ценятся, и вообще жизнь Рдейского края основана не на рублях, а на фразе: "простой продукт, — по современному бартер, — имеешь?" Даже клюквенные отношения конкурентов-коопторговцев (граница областей) основаны на обмене. Все, что закажешь летом, они привезут тебе зимой. От дубленок до сахара, муки и бочонка атлантической сельди. Ну а если какое-то количество пудов денег тебе понадобится, чтобы приобрести механизацию, живи по принципу, ни в какой мере не попадать в кабалу к системе — часть клюквы припрятать для индивидуальных оптовиков, они к тебе приедут зимой и оценят твои осенние труды соответственно, и трактор или танк, кругом же кипит, беснуется конверсия, будет в твоём распоряжении.

А где еще я бы рекомендовал моему подопечному пристать к берегу — так это в "Америке". Так называют довоенный американский вагончик, настолько давно оставленный иностранными специалистами, что он весь пророс шестидесятилетними елями, и его уже никому не сдвинуть с места. Как разыскать его, тебе расскажут глодовцы, подобрешие после подарка, да и я могу дополнить розыск сведениями — вдруг и Глодовская деревня покинута человеком. Главный ориентир "Америки" — деревня Вороново — находится в километре от вагончика. Даже библиотеку, как это принято на топком Болоте, если отчеты требовались летом, не сожгли сельсоветчики, а свалили на чердак покинутого магазина.

Ох, уж эти сжигания! Однажды шлепал болотоступами по мхам, под вечер потянуло гарью, — запорхали над багульниками полубогоревшие листочки — деревня Глуховка в срочном порядке ук-



Писатель Юрий Казаков в Рдейской обители

рупнялась и для отчета — летом же не вывезешь макулатуру на материк — списанные книги жгли.

Я не думал, что могут одинаково хорошо гореть Лев и Алексей Толстые, Юлиан Семенов и Глазуновские репродукции, Достоевский и Бабаевский, — все с одинаковым безразличием и усердием пожирал огонь.

Поэтому я не знаю, что тебе по линии духовности и посоветовать. Все же какие-то раритеты захватить с собою надо. Может, и пленку с Цоем: "Перемены требуют души" или "Наутилуса-Пампилиуса": "Скованы одной цепью, спаяны одной целью", а из земляков я бы взял безвестного Ивана Ленкина. Он живет недалеко от Полистовья в Старом Шимске: "Болота синью перевитые — оцинкованы края, в них к небу радуга прибитая сеткой мелкого дождя". К тому же Ленкин умеет плести корзины и сети. А может, стихи о Рдейском крае Ярослава Михайлова — человека, который беззаветно полюбил Болото, каждый раз выносил из него не только мешок клюквы, но и одно-два стихотворения.

И еще, господа-товарищи, не забудьте про опыт предков: восстановите в памяти их советы по изготовлению верш, рубки домов, рытью колодцев.

1 М. Костров. "Поселянщина", "Новый мир", № 4-87.

Помню, когда я жил в одиночестве целый год на острове Межник, огромного труд стоило мне осваивать эти работы с нуля.

Ну и не плохо бы уговорить на жительство в Крае какую-нибудь травную исцелительницу, да была бы она одновременно и повитухой... Вы же уходите навсегда от этой постылой жизни.

Вспомнил еще одно отличное ничейное место на Полисти. Не доплывая пяти минут до вагончика по правую руку, увидишь озерцо, скорее, пруд с протокой и огромные дубы. Мне рассказали, что еще доаракчеевские жители¹, нуждаясь в красоте, сговорились не трогать этот остров, чтоб превратить его в парк. Уж не знаю, как ты поступишь, я же, поставив в нем вигвам (может быть, постройка еще сохранилась), жил среди устойчивости целую неделю. А теперь, вот, иногда глянешь на фотографию, на тихую воду с перевернутыми байдаркой и деревьями в ней, остается только вздыхать. Как нам не повезло...

От вигвама, от "Америки" до новгородского автобуса, до Карабинца (Переезда) три часа плава по спокойной воде, в одном месте только надо будет преодолеть Серболовские буры, и ты в таком случае можешь сообщаться с внешним миром че-

рез Новгородчину. Тем более в Карабинце тоже можно будет купить спичек и соли. Но в то же время, помня о возможном дальнейшем нашем обнищании, учишь работать с трутом и огнивом, и ищи соленые источники на болоте — старорусские земли всегда славились солью, — а вместо сахара осваивай мед. В Воронове, в домике с балконом, на чердаке лежала прялка, при Домше когда-то, по рассказам старожил, работал на сыром железе кузнец — то есть не очень-то верь в сегодняшнюю игру по разоружению тех и наших правителей...

К счастью, сфагнумы отличные абсорбаторы разной дряни, пыли, окислов, углеродов, поглотители расползающихся по стране рентген, температур, а потому и парниковый эффект, и грязевые потоки на болоте тебе будут не страшны. По поводу же Серболовских буров, то есть порогов в Полистовье, хочу сказать, что их на Рдейской Полисти всего два. Далее река выйдет из Болота и потечет круто вниз до Ильменя с перепадами через десятки бывших водяных мельниц.

О том, как я их преодолевал в 1986 году на байдарке, я уже писал в сборнике "На древней земле" (Лениздат, 1990). Нынче только черные сваи да сливы остались от них, но возродить мельницы, чтобы вода колыхала по крайней мере хотя бы по два постава, думаю, можно будет. Но еще лучше наставить в Рдейском крае на маленьких, величиною с пару соток, и открытых всем розам ветров островках, крылатых мельниц. Увы, в стране, как сообщает нам хроника ТАСС, их, действующих в Брянской области при деревне Ильино, всего одна штука, а потому назвать старого мельника Карева для обмена опытом нужно будет медленно.

Ну и кроме того, перед тобою налицо вращающийся вал, то есть умелец сможет снять с него крутящий момент и для разных других целей. Например, для веретен по изготовлению тончайших кружев, если выращивать, как вспоминают деды, лен под хворостом, чтоб не матерел. Помните: "И бунт на борту обнаружив, из-за пазухи рвет пистолет, так что сыплется золото с кружев розоватых брабантских манжет..."

И вообще, в предвидении энергетических кризисов, сажай на вал хоть токарный патрон, чтоб точить пилястры для своих крылец, или ходовой винт из того же дуба для давилного агрегата. Лен же — это не только волокно, а и масло. Да и кирпич из глины — основа многих поделок — тоже любит формообразование с позиций силы. Мало ли для чего тебе понадобится облегчающая твой труд, экологически чистая энергия воды и ветра. Наверное, в первую очередь для того, чтобы поя-

вилось у тебя окошечко свободного времени для размышлений обо всем, для песен за столом, для разговоров о возвышенном с соседом. Ты же будешь селиться не близко, но и не далеко, на бросок камня от него, как это сделал Христос в Гефсиманском саду, удалясь для раздумий от своих сподвижников, но чтобы в случае опасности можно было прийти и на помощь друг другу.

Теперь о восточной части болота, куда можно попасть только через Старую Руссу, или, если мчаться до края по Рижскому шоссе, помнить о Холме и станции Локня. Главным в этих местах, конечно, будет Рдейский монастырь — еще вполне прочная коробка из кирпича-плинфы, которую можно определенной группе людей восстановить. Рдейская обитель (первое упоминание в летописях — 1666 год), Рдейский край, Рдейское озеро — топонимическая цепочка, до которой можно добраться с разных точек асфальта "Русса-Холм-Подберезье", деревень Наволок, Жемчугово, Чекуново, Пустыньки и, главным образом, Новичков — отсюда ближе всего до этих земель.

Строение стоит на песчаном бугре полуострова и все еще прочно, несмотря на семьдесят лет моего атеистического господства, а, может, я и не прав — тысячелетнего?

Внутри же монастыря советую для поселения выбрать не алтарь, где пастухи и туристы жгут костры, а келью Голубушки, — конечно, придется убрать костыли, вбитые в стену, на которых когда-то партизаны распяли блаженную монашенку.

У монашенки после того, как монастырь переделали в хлев для колхозных нетелей, сохранилась с дореволюционных времен странная привычка — продолжать питаться хоть раз в месяц, но чтоб белым хлебом — немцы и поймали ее на этот "крючок": она дважды за батон указывала фашистам, где прячутся партизаны.

Ну а о покровителе обители, Афанасьишке, могилу которого периодически в прошлые годы разрывали по линии борьбы с "мракобесием" холмские комсомольцы, о случае с писателем Юрием Казаковым над этой могилой, хочу рассказать вам подробнее ("Большие свороты", М., 1990.).

Помнится, идти по глубокой моховой дорожке — от Наволока брели — было трудно. Шли хмурые, молчаливые, тогда еще болотоступов у нас не было, растягиваясь, чтоб отводимыми ветками не стегать друг друга. К вечеру блеснула, наконец, водная гладь. Я всегда шепчу про себя несколько слов приветия любимому Рдейскому озеру. Берега его высоки и надежны, как только выходишь на них, тотчас сбрасываешь резиновые сапоги, садишься на подстилку из хвои, прислонившись спиной к сосне, опускаешь ноги в воду.

Но мои друзья — с Ю. Казаковым были Дима и Лида Порушкины из Орла, — усталые, измученные переходом, почему-то не разделили моего восторга клонящимися над озером соснами, решетками Рдейского монастыря вдаль на песчаном полуострове, привалом. Наконец, Юра, посидев немного и не снимая сапог, вдруг заявил, что палатку здесь ставить не будем — он хочет ночевать в изобке, о которой я столько писал.

"Но до нее еще шесть километров, — возразил я ему. — Чем здесь плохо: сухо, дров сколько хочешь, а красоты такая вокруг!"

В Рдейский край люблю приходить, когда садится солнце. Садилось оно и в этот раз — красное и усталое — в заозерную елочную дребедень. Так не хотелось идти дальше. Но Дима и Лида, чертовы подголоски, поддержали Юрия, и мы пошли.

Последние годы что-то часто стали появляться над Нечерноземьем локальные полосовые ураганы. Не оставили они без внимания и эти места: береговая тропинка была перегорожена еще не успевшими перегнуть стволы, и мы то и дело, выбиваясь из ритма движения, преодолевали их.

Монастырь издали, с края озера, по мере нашего продвижения к полуострову, появлялся из-за деревьев все реже и реже, наконец, солнце завалилось за противоположный берег.

И чем ближе мы в сумерках подходили к обители, тем яснее и яснее слышались сначала непонятные звуки, скрежетание внутри нее, потом "бом-бом", потянуло легким ветерком, — билось где-то железо об железо. Поздним вечером продирались через огромный заброшенный монастырский сад не хотелось, да еще эти неприятные звуки, — мы продолжали идти теперь уже по песчаному полуострову, огибая монастырские строения.

У Казакова есть тонко выверенный рассказ "Кабасы" о страхах, о нелепости резкого внедрения культур извне, о мальчишке — заведующем клубом, ненужности его преобразовательных усилий в деревне.

"Куда ты меня завел? Это же гнусный край, — вдруг сказал Юра, — даже комары не кусают!" — Он, уставший до предела, уже не знал, к чему придаться. В своих новеллах я писал о том, что "Тайгу" брать в Чисть не обязательно, и Казаков знал об этом. Ну а спутники его, Порушковы, радостно и слаженно каноном запели: "Гнусный край, даже комары не кусают. Да-да-да..."

Дима, сбросил рюкзак, лихорадочно прорылся в нем, включил фонарик (на нас уже со всех углов леса наступала тьма), и написал в блокнотике: "... даже комары не кусают ... я потерял голос", — преданный и верный поклонник Юрия Павловича



Озеро Полисто

Казакова. За Порушковыми Юра был как за каменной стеной.

Если бы знать! Но тогда еще и я не знал о всех странностях и легендах Рдейского края. Это позже, когда водил в эти места одного ленинградского писателя, то на всякий случай предупредил его, чтоб от был вежлив и тих в Полистовских болотах. И особенно при виде всяких могил, а то мало ли что... Считалось, что все это шутки Афанасия — местного святого, захороненного в прошлые времена у стен Рдейской обители. Ее с 1927 года, с момента закрытия женского монастыря, постоянно тревожили, как я уже говорил, районные атеисты, в основном, в начале мая разрывали его могилу. Но упрямые старушки, словно их не убывало, на Троицу сбегались в обитель и все приводили в порядок. Порой даже делалось неясно, кто же в конце концов победит?

Была повреждена могила и в том, семьдесят пятом году. И, наверно, рассерженный Афанасий легким туманцем бродил где-то в озерных далях, разными способами наказывая скептиков и маловеров.

Тогда же ничто не насторожило моих спутников. "Он и раньше терял голос от временной ус-

талости", — сказала беспечно Лида и вдруг схватилась за сердце, задышал тяжело и Казаков...

Дальше в моей памяти стоит такая сцена — помнить ее буду вечно: Юрий Павлович стоит по колена в багульнике, запрокинув "три звездочки", глотает и глотает коньяк, и видно на фоне темно-синего неба, набитого уже настоящими звездами, как неудержимо ползет вниз черный уровень жидкости, а Дима отпаивает Лиду валерьянкой.

Потом был привал: "огонь дымистый" и чай душистый, а на утро мы решили сходить в монастырь. У меня есть фотография: мои ведомые, опустив головы, бродят внутри здания. Чего только на стенах не было написано со времен закрытия монастыря!

Насмотревшись на остатки великолепного алтаря, взяв себе на память по лепесточку от мраморных роз, мы вышли на свет божий, и я повел своих спутников к могиле Афанасия. Как всегда, она была нарушена, а главное, исчез искусно выкованный деревянными кузнецами крест.

И тогда Юрий Павлович предложил вкопать его снова. "Да где же он?" — "В келье Голубушки, вы что, не заметили?" — Казаков вроде ходил рассеянно, молчаливо, но все замечал своими близорукими, выпуклыми гляделками.

"Да нет лопаты, — опять заленился я, — чем же будем вкапывать?" — Дима не мог говорить, у Лиды вновь защемило сердце, и тут опять, хотите верьте, хотите нет, в дело вмешалась тень Афанасия. Никакой лопаты, прислоненной к дубу, росшему рядом с могилкой не было, только Юрино ружье опиралось на ствол, и вдруг рядом оказалась отличная штыковая лопата с отполированной ручкой.

И мы вырыли ею глубокую яму, приволокли из кельи крест. Казаков в его переплетения, поперек вставил несколько арматурин, и забыв яму кирпичом, так крепко его установил, что как ни приедешь, а он стоит и стоит...

Ну, а с Димой произошло новое чудо. Вот он на фотографии, положив руку на вкопанный крест, остекленев лицом и выпучив глаза, бормочет одну и ту же фразу: "Юрка, Юрка — кожаная тужурка".

Короче, мы сделали доброе дело, и святой возвратил голос орловскому поэту Дмитрию Павловичу Порушкову. Край же словно повернулся к нам передом: из чащоб на тропу полез белый гриб, блесны спиннингов хватали крупные окуни, утки впереди нас взлетали в таком изобилии, что писатель поминутно вскидывал ружье... Поляны черники, гонобобели, брусники, на лесоповалах — малины — сменяли друг друга. Только подума-

ешь: "Нет картошки", — как у кем-то оставленного кострища — пожалуйста — лежит горка.

И предпоследнее в моих опусах — для защиты своего края. Все-таки придется послать одного парня от десяти-пятнадцати дворов в дружину имени "Соловья-разбойника", хотя бы пусть символически он защищает свою родину от разных внешних скуратовцев-спецназовцев. Другой сын пусть окончит агрономические курсы, говорят, в Литве уже есть техникум по выпуску фермеров широкого профиля. Именно широкого, потому что в Крае крестьянину придется делать все самому: ремонтировать технику, токарить, пахать-сеять-убирать, налаживать передачи "России" или "голоса Америки". Дочкам же советую учиться на фельдшерниц или учительниц, а главное поскорей и побольше чтоб рожали детишек. Крестить же вы их будете в православной церкви при Рдейском монастыре. А кому понадобится мечеть там, синагога, католический или протестанский храм, — пока могут обращаться к Богу непосредственно через дыру в потолке. Да и не угоришь с ней в курной избушке и при лучине. На той сотне островов, что стоят на Болоте, всем культовым сооружениям найдется место после моего разрешения на их постройку. Главное, для этих целей есть не только лес, но и глина, и полуразрушенные кирпичные плинфовые заводишки при Рдейской обители.

И, конечно, как только окрепнет экономика края, сами собой появятся на Болоте сказители и песенники, художники по росписям печей и фресок, резчики наличников и так далее... То есть красота и искусство войдут в твое сознание сами собою без нищенских там остаточных вливаний в культуру. Один только вид с вершины монастыря, просторы раскинувшиеся окрест: синие озера, острова как уснувшие ежики, стальные ленты извиляющихся рек и речушек, и все это на темно-зеленой замше болот подтолкнет тебя к различным выражениям твоей души, и может какой новоявленный болотный Микеланджело вспомнит про камень в пол-избы.

Писаки же несчастные, графоманы, словом, кто-то из нас, а скорее всего наши внуки, примутся и за эпос о судьбинах Рдейской Чисти. Прото, как жили в Полистовье при князьях и царях, про войну 1612 с ляхами и шведами, про святых Афанасьюшку и Василия, а главное пусть опишут весь двадцатый обыкновенный век, не забыв, конечно, и одного из жихарей здешних мест Кострова Марка Леонидовича.

Но не все же среди вас захотят такой беспокойно-фанатической жизни, найдутся и люди, которые просто мечтают о выращивании бычков для города, неком семейном подраде. Я же еще в на-

чале инструкции говорил о множественности бытований — только на этом и может держаться Рдейский рай. Для таких граждан я припас Груховку — остров площадью 4200 гектаров. На нем жило до революции, да и после двести семейств, каждое из которых имело до десяти коров. Немцы, приглашенные Екатериной Великой, конники Буденного, латыши, татары, другие народности, во времена нэпа еще более окрепнув, снабжали маслом и мясом не только Холм, но Старую Руссу и Новгород. "Второй Украиной" был прозван остров сельчанами.

Увы, теперь там только травы и травы. Идешь лугами — в одном месте свечками стоит ятрышник, второй луг — белопенная таволга, розовый иван-чай сменяет желтый козлобородник. Растения, объединившись в сообщества и не мешая друг другу жить, поделили брошенную землю — мы же, люди, оказались на это не способны.

Когда-то косили Груховку, но последнее время только в восточной части ее стрекочут косилки, хотя остров всего в трех километрах от асфальта, от Пустынок и в сухие лета туда можно пробиться трактором. Ты же, уверен, набравшись сил, легко восстановишь порушенную техникой дорогу — она же теперь будет твоя, — и тогда советую обратить внимание на любопытнейшую вещь — газификацию Груховки. Еще нигде в мире и упоминания об этом способе освещения и кухонного использования не было, а на острове уже из газового болотного кармана при озере Большое Кожмино (бывшее Городецкое), дотошные немцы-гуги провели в становище свой трубопровод и пользовались метаном безо всяких ограничений. Жаль, что я еще не президент Рдейского края, а то бы послал Литве несколько бочек этого волшебного топлива, а она мне в ответ на время семейную бригаду мелиораторов — только они, слышал, пунктуально и издавна умеют вести уклоны.

Еще можно Груховку достичь и по узкоколейке. Не доезжая Холма, от дышащего на ладан леспромхоза Чекуново, пойдет вглубь болот ржавеющая "железка" и снова появится, описав внутри края огромную дугу, где-то за городком у поселка Сопки. Ты в этом случае поступай так, как это делают осенью пришлые клюкводобытчики: они привозят в рюкзаках колесики и угольники, чтобы, собрав из них минидрезиночку, громыхать по Моховщине со скоростью ветра.

Говорят, они даже отвели "ус" куда-то в сторону от главного пути уже для велосипеда, и представляют, их действия остались безнаказанными — настолько дик и заброшен сегодняшний Рдейский край. Это еще раз говорит в пользу твоего переселения на Болото.



Ильмеш. Зима

Кстати, такие люди уже на нем появились. Из Великих Лук переехал в Ратчу с семьей слесарь Олег Сприбыль. Домшу занял гонец из Пушкина Борис Коказ, а до него там жил, но не прижился некто Малявкин из Красного села. Наиболее же упорным из них оказался Петя Горбунов из Юрьенок — это уже Тверская губерния. Более десяти лет живет он со своей Валею в этих местах. На сорок девятом году жизни, после бесконечных ссор с женой он, наконец, решился — встал из-за стола, закинул рюкзак за спину и пошагал по Лиговке в сторону Московского вокзала. Три месяца жил на острове Лебединец, собирал клюкву. На заработанные деньги купил дом, развелся с супругницей (детей у них не было), и по пути в деревеньку клеил на маленьких станциях бумажки — "ищу жену"... На приглашение откликнулись три женщины — Петя выбрал ту, которая сделала в письме больше всего ошибок.

Но в основном, конечно, Полистовье — пустыющая земля. Особенно мне, бродяге, хочется пожить уже не на Межнике, а на Старице, чудесном, по слухам, местечке. Исходил массив вдоль и поперек, но так и не побывал, сил не хватило, добраться до Червячка — так еще зовут ту Старицу, точнее, отрезок Порусьи, вдруг на два ки-

лометра выходящий из-под мхов за песчаным островом Крыман.

И знаю об этом из литературы (И. Д. Богдановская, стр. 103—109), и слышал от сведущих, побывавших там, людей, про сказочную, буквально набитую испуганными лещами и судаками извилистую протоку. Якобы рыба, поднимающаяся с Ильменя по Порусье, чтобы достичь Русского озера, далее должна нырнуть в подмоховую трубу, по местному "глухую речку" длиною в десять километров. Но первопроходцы побаиваются черного туннеля, мол, что там их ждет на озере, и потому скапливаются на Червячке. За рыбой же слетается на Старицу всякая водоплавающая дичь, ну а берега у реки, как пишет Богдановская, в высоких сосновых лесах, где, естественно, поджидает тебя нетронутый человеком гриб, томится никем необобранная черника, а чуть подальше отойдешь, особенно по левому берегу протоки, белопенно, словно снег выпал, цветет морошка.

А далее Ивонна Донатовна сообщает нечто интересное про разные островерхние песчаные бугры, в том числе про Крыман и Соколиную бабочку — острова недалеко от Червячка, мол, "возвышаясь одиноко среди болотной равнины, они производят сильное впечатление, и неудивительно, что с ними связаны многие легенды, главным образом, о зарытых кладках. Вершины их обычно изрыты глубокими ямами, выкопанными искателями этих кладок". (См. приложение — карту "Рдейского рая" и читай книгу И. Д. Богдановской-Гиенеф "Закономерности формирования болот верхового типа на примере Полистово-Ловатского массива" ("Наука", 1969, а также М. С. Боч, В. В. Мазин "Экосистемы болот СССР").

Мне же не до кладов, пусть "конвертируемую" валюту ищет молодежь, мне бы пробраться в эту тишь и несуету и пожить внутри нее без телевизоров и радиоприемников целое лето, а может и часть осени, а может и годы. Вырыть в сухих бе-

регах землянку, питаться рыбой, грибами, ягодами, и испытать блесенку по перволедью, только тогда выйти на Материк: "Здравствуйте!" — А в Метрополии уже никого нет — лишь черные обуглившиеся обрубки леса стоят, и ветер разносит обрывки прокламаций... Не дай, Бог! Не дай, Бог...

Послесловие

Край, как магнит, кто хоть раз побывал в нем, обязательно придет в Полистовье снова, или, вот, как Михайлов, отзовется на красоту поэзией.

Идешь, не спеша, от острова к острову, мхи, как волны, ходят под болотоступами, в руках две палки с лыжными кольцами, ими, словно веслами, отталкиваешься от кочек, и черный остров, кажется, навечно застрявший на горизонте, вдруг потихоньку начинает раздвигаться, разворачиваться, из черного делаясь синим, зеленым, золотым — все зависит от времени года.

Разные это острова, то круглые или овальные то крутые, высокие, как старинные колпаки. Позднеосенние, колючие, словно стайки плывущих вполводы окуней. Огромные, в сотни гектаров — типа Ратчи или Груховки, на которые можно смело сажать в том числе и гуманитарную помощь или отправлять в ближние и дальние страны зарубежья клюкву, и совсем маленькие, как та же валютная ягодка, сосновые в этом случае и с нарытыми кладоискателями ямами в их середках. И этих забытых, ничейных, одиноких в количестве ста штук бугорков землицы никто не обиходит.

А ведь они тоже живые, тоже нуждаются в ласке и внимании, готовы вступить в симбиозы с человеком в количестве до тысячи душ, и лучше бы, чтобы этими душами оказалась трудолюбивая элита.

Люди, селитесь в Рдейском крае, где кругом сплошная эволюция и революционные перемены не заденут вашу легкоранимую психику.

Юний ГОРБУНОВ

Малуша-любечанка

Рисунки Натальи Пластовой

После княгини Ольги на исторической сцене появляется сразу несколько женских персонажей. Однако роли их эпизодические, и светят они, не в пример Ольге, светом отраженным — от таких замечательных в русской истории личностей, как воитель Святослав Игоревич и великий князь киевский Владимир Святославович, креститель Руси и первый ее просветитель, прозванный народной молвой Владимиром — Красно Солнышко. В лучах этого светила первой величины обнаруживается много малых планет и спутников и в том числе целый ряд женщин.

Но отраженный свет — тоже свет. Подчас в неверном лунном струении удается разглядеть то, что при солнечном блеске теряется и не привлекает внимания.

Первая из женщин — мать Владимира Малуша (Малка). Она служила в доме великой княгини Ольги, заведовала ее кухней, припасами и погребам. Словом, была в доме при ключах. По тогдашнему уставу вольный человек, отдающийся в услужение, становился рабом. Значит, Малуша-ключница тоже была рабыней. Такой вот пассаж — вторая по счету женщина, отмеченная историей, оказалась из сословия самого низкого. Однако же автор первого свода исторических женщин — писатель Даниил Лукич Мордовцев отвел ей в своих "рассказах из русской истории" целую страницу.

Конечно, было бы наивным искать в летописных источниках какие-то достоверные сведения о ключнице хотя бы и самого знатного дома в Киеве. Мы ловим о ней только жалкие крохи с княжеского стола.

Происхождением Малуша была из древнейшего русского города Любеча (по другой версии — из древленского города Коростеня). Любеч и поныне стоит близ Киева, и на высоком левом берегу Днепра археологами обнаружены валы древнего городища...

Летописец упоминает, что веший Олег в 882 году на пути из Новгорода в Киев захватил Любеч, подчинил его себе, сделал северным форпостом и "воротами" Ки-



ева. В Любече на пути в Киев останавливались послы византийского императора, и городу, согласно Олегову договору с греками, полагалась часть византийской дани.

Жил здесь в ту пору некий славянин Малко Любечанин. Была у него дочь Малуша и сын Добрыня. Оба каким-то образом были замечены княгиней Ольгой и приближены к княжескому столу. И оба оставили след в истории.

Автор книги "По следам Добрыни" А. М. Членов, вслед за историком Д. И. Прозоровским, отождествляет летописного Малку-любечанина с исчезнувшим с глаз истории после взятия Ольгой Коростеня, древлянским князем Малом. По этой версии Малуша и Добрыня, вместе с отцом полоненные Ольгой, стали рабами, но не на юридическом, а на военном основании, то есть их положение полностью зависело от каприза и воли княжеской.

Так или иначе, семейка была, что и говорить, своевольная, гордая, никто себя в обиду не давал. Из всякого положения умели извлечь хорошую выгоду. Вольный дух силен был в доме

Малки-любечанина, и Малуша его сумела себя поставить при ключах. Княгиня только да княжичи и держали над ней власть. Молодая, красивая, своенравная, она была заметна в доме и мало перед кем опускала глаза. И то сказать: при ключах в таком большом хозяйстве надо было обладать недюжинным характером и волей.

Но куда больше Малуши "наследил" в истории русской старший брат ее — Добрыня Любечанин. Он был очень близок к престолу великокняжескому и, оставаясь вольным горожанином, своевольничал у большого короля и за себя, и за сестру свою — рабыню.

С именем Добрыни сразу приходит на память быллинный герой Добрыня Никитич. Некоторые ученые, однако, осторожничают, считая, что отождествлять их нельзя, хотя бы потому, что имя "Добрыня" было очень распространено на Руси. Только документальные свидетельства сохранили нам семьдесят Добрынь. Но и вовсе отказывать нашему Добрыне-любечанину в "родстве" с

Добрыней былинным тоже было бы неправильно. Говорит же былина: "Он стольничал-чашичал девять лет" Или: "Года три жил Добрынюшка де ключником". Вполне мог быть отмечен памятью народной человек столь небескорыстно и круто хозяйничавший у княжеского престола в Новгороде при малолетнем князе.*

** Добрыня, свидетельствует Б. А. Рыбаков, склонный считать былинного Добрыню лицом реальным, стал родоначальником нескольких поколений новгородских посадников. Таковыми были Константин Добрынич и Остромир. Знаменитый Ян Вышатич (праправнук Добрыни) был другом летописца Нестора и Феодосия Печерского. И мы с Добрыней еще не раз повстречаемся.*

Так вот молодая славянка-ключница привлекла в доме матери внимание князя Святослава, имевшего уже к тому времени в люльках двух сыновей-погодков, и стала, по-видимому, одной из его наложниц.

Если забыть ненадолго, что была Малуша рабыней — в обиходе с ней наверно никто этого не чувствовал и не осознавал, — то они с князем были прямо подстать друг другу — и внешне, и своенравием. Вот, например, какой словесный портрет князя оставил нам историк Лев Диакон, византиец: "Он был среднего роста, имел плоский нос, глаза голубые, густые брови, мало волос на бороде и длинные косматые усы. Все волосы на голове были у него выстрижены, кроме одного клока, висевшего по обеим сторонам, что означало его знатное происхождение. Шея у него была плотная, грудь широкая, и все прочие члены очень стройные. Вся наружность представляла что-то мрачное и свирепое. В одном ухе висела серьга, украшенная карбункулом и двумя жемчужинами. Белая одежда его только чистотою отличалась от прочих русских".

Перед нами портрет воителя, почитавшего войну искусством и отдававшегося ей всем существом своим. При матери он не жил, оставил ее хозяйничать в княжествах Киевском и Новгородском, а сам гулял с дружиной далеко от дома. Собираясь напасть на очередную жертву, посылал сказать врагу: "Иду на вы!" Жил с дружиной одной суровой жизнью. Не держал в походах обоза, а питался кониной и мясом диких зверей; презирал холод и ненастье, спал на войлоке под открытым небом, положив под голову седло.

Святослав разгромил хана хазарского, подчинил Руси славянское княжество вятичей, победил осетин и черкесов, а затем в 967 году покорил Болгарию и, не захотев возвращаться в Киев, жил с дружиной в болгарском городе Переяславце.

Его значение для Киевского государства историки оценивают по-разному. С. М. Соловьев пишет о завоевательных походах князя — "славных для него и бесполезных для русской земли". Новейший же историк Б. А. Рыбаков, напротив, считает, что кажущиеся беспорядочными войны Святослава были на самом деле экономически целесообразными. По выражению историка, он сбил замки, закрывавшие торговые пути русских — от Среднего Поволжья до балканских земель Византии. И это мнение кажется предпочтительным, если вспомнить миротворческую внутреннюю политику матери князя — правительницы Ольги.

Так или иначе, надо признать, что Святослав I Иго-

ревич был талантливым древнерусским полководцем. До нас дошли и стали афоризмами несколько его правил и принципов войны, таких как "Иду на вас!", "Мертвые сраму не имут"...

После многочисленных и славных побед, он однако же вынужден был уступить грекам и оставить любимую свою Болгарию. А на пути в Киев, на днепровских порогах встал перед ним печенеги. Здесь и погиб воитель Святослав.**

*** Л. Н. Гумилев в книге "От Руси к России" утверждает, что в гибели Святослава повинен сын его, киевский князь Ярополк, якобы, предупредивший печенегов, что дружина Святослава слаба. Ярополк, считает Гумилев, не хотел усиления в Киеве языческой партии. Говорят, что князь печенежский Куря из его черепа велел сделать чашу и оковать ее золотом. И были, якобы, на той чаше слова: "Пойдешь за чужим, свое утратишь".*

Таким был князь Святослав Игоревич, и отсвет этой сильной мужественной личности несомненно падает на Малушу-любечанку. Перед нами образ русской женщины, поправшей низкое свое положение, не унижившейся до него. Уж если быть рабом — так у великой княгини, а наложницей — так у княжича! Связь со Святославом, похоже, не была для Малуши минутной слабостью. Возможно, в один из "ярлиных праздников" она уступила физической силе, но не уронила при этом честь свою — не прятала "грех", не падала ниц пред княгиней, достойно приняла ее гнев. Ольга отправила дерзкую ключницу на пасковщину, в деревню Будутино. Примечательно, что именно в те края, откуда, по преданию, прибыла и сама в Киев и где познакомилась с Игорем.***

**** Деревня Будутино (современный Будник) находится как раз против того места, где по легенде произошла встреча Игоря с Ольгой.*

Здесь у Малуши и родился сын, названный Владимиром, — младший из трех сыновей Святослава Игоревича.

Надо, однако, пояснить, что именно разгневало княгиню. Многоженство было у славян в чести и держалось даже какое-то время после принятия христианства. Сам факт появления у Святослава, кроме видимых жен (водимая, т. е. законная, приведенная к жениху, — Ю. Г.), наложницы и даже нескольких не рассердил бы княгиню. Грех состоял в том, что наложницей оказалась рабыня и родился от нее "робичич". Вот почему спроважена была подальше Малуша в надежде, что греховный плод будет сокрыт.

Но этого не случилось, что тоже много говорит в пользу Малушиного характера. Вскоре мы видим подростка княжича уже в Киеве, где он вместе с братьями живет под надзором бабушки — княгини Ольги. Владимиру Святославовичу суждено было пережить братьев своих, рожденных от "законной" жены, и стать одним из самых почитаемых народом правителей Древней Руси. Однако сословная ущербность долго гнездилась в нем, язвила душу и в какой-то мере управляла поступками князя. Иногда, правда, не только и не столько его, сколько поступками его дяди — наставника и попечителя Добрыни.

Вернемся, однако, к упомянутой версии Прозоровско-

го-Членова. На непрочном, надо сказать, основании совпадения летописных имен древлянского князя Мала и любечанина Малки они написали новую легенду о княгине Ольге и ее пленниках — Малуше и Добрыне.

Если Малуша не была рабыней по юридическому праву, а была княжной — пленницей Ольги, то возможно, что Малуша стала не наложницей, а одной из "видимых" жен Святослава. И брак этот был частью мудрой внутренней политики правительницы Ольги, которой в миротворческих интересах великокняжеского стола было выгодно соединить родством две династии — варяжскую Рюриковичей, представленную великим князем Святославом Игоревичем, и славянскую — древлянского князя Мала. С этой далекоидущей целью Ольга, якобы, и сохранила жизнь князя, приблизив к себе его детей.

Но учитывая эту версию, мы не будем, однако, впадать в полную от нее зависимость — по причине непрочности ниточки, на которой держится воздушный шар новой легенды.

До гибели своей на днепровских порогах, Святослав поделил между сыновьями земли княжества. Старшему, Ярополку, достался киевский стол. Средний Олег, сел княжить у древлян. А младшему, Владимиру, как говорится, ничего не досталось. Его просто, как "робичича", не приняли в расчет. Это был жестокий удар по самолюбию юного князя. Мать и дядя Владимира иначе смотрели на будущее своего воспитанника. Вполне возможно, что между ними наладился тихий сговор: как устроить, чтобы Владимира не отделили от престола.

Тем временем новгородцы (вполне возможно, что и по наущению Добрыни) пришли к Святославу и стали просить себе князя, угрожая, что если не даст, то они сами найдут (уж не намекали ли опять на варягов?) Святослав же развел руками: нету, мол, больше князя. И тогда Добрыня надоумил новгородцев попросить в князья себе Владимира. Новгородцы так и сделали, а Святослав согласился. И стал Владимир вместе с Добрыней княжить в Новгороде. Мать и дядя своего добились.

Так повествует летопись. По былинной легенде А. М. Членова никакого борения за новгородский стол не было — Владимир получил его как законный сын Святослава. И это, якобы, как раз доказывает не холопское, а княжеское его происхождение.

Как только не стало Святослава, началась между

братьями усобица. Предание сообщает, что Олег на охоте убил Люта, сына киевского воеводы Свенальда. И Ярополк, подзуженный воеводой, пошел на брата походом. Дружина Олега не устояла, стала отступать к городу Овручу и в случившейся толчее на мосту через городской ров Олег упал в воду и утонул.****

****Очень любопытен взгляд историка и археолога Б. А. Рыбакова, который полностью отождествляет древлянского князя Олега с героем былины о Микуле Селяниновиче — Вольгой Святославовичем. Он нашел в былине и ее вариантах прямые отголоски событий, происшедших в Киевской Руси после гибели Святослава.



Узнав о случившемся, Владимир насторожился: а не пойдет ли брат и на него походом? И ушел из Новгорода собирать дружину посильнее.

И тут надо сказать, что князья-то были еще мальчишки. Старшему, Ярополку, — исполнилось шестнадцать, Олегу — пятнадцать, а Владимиру и того меньше. И всем управляли коварный и опытный воевода Свенальд, другой, не менее коварный — Блуд и дядя Владимира — Добрыня, тоже не сильно "похожий" на свое имя.

Вот собрал князь Владимир дружину из варягов, но решил еще заручиться поддержкой полоцкого князя Рогволода. Ярополк же в это время как раз сватался к дочери Рогволода — Рогнеде. Узнав о том, и Владимир послал в Полоцк своих сватов. Отец предоставил дочери право выбрать суженого самой, и Рогнеда сделала выбор, ставший роковым и для нее, и для родины ее:

"Не хочу я, сказала, за робичича". Ответ Рогнеды был тотчас передан Владимиру. Дядя и племянник закусили удила. Их сильная дружина, состоящая из варягов, чуди, кривичей и новгородцев, пошла на Полоцк. Гнев слепил глаза "робичичу" и оскорбленному Добрыне.

Разгромив Полоцк, они двинули дружину на Киев и осадили его. Чтобы одолеть Ярополка, воспользовались гнусным предательством воеводы Блуда, который хитростью выманил своего князя и подставил его под мечи владимировых варягов-дружинников. Совершилось еще одно братоубийство. (Не раз еще, увидим, воспользуется "робичич" услугами предателей и пустит в ход коварство — черта, часто присущая людям кровно обиженным и уязвленным).

Что ни говорите, а хорошенького же перца добавила Малуша-любечанка в то крутое варево, что зовется русской историей!

Я — мгновенье и вечность

Татьяна ФЕДОРОВА

А что такое облака?
Клочки рассветного тумана,
Сформировавшиеся странно
И уплотненные слегка?
А может, это снег со скал
И ввысь его взметнуло ветром,
Где над двадцатым километром
Он стал похож на облака?
А может, стаи лебедей
Погибли в небесах весенних
И снова, после вознесенья,
Плывут и радуют людей?
А может, это просто так,
И их нарисовал художник,
Когда слепой июньский дождик
На полевой мольберт упал?
А что такое облака —
Звено в цепи круговорота,
Простое правило природы —
Она на выдумку легка.

* * *

Я семнадцатый год существую на грани:
Все свершенья мои — две позиции крайних,
И поэтому я, из-за внутренней битвы,
Балансирую вечно на лезвии бритвы.

Что поделывать, наверно, мне все же нужнее
Белоснежные крылья — и камень на шее.
На незримой границе живу я за это —
Между злом и добром, между мраком и светом.

Я живу на границе — и в этом причина,
Что в послушнице строгой живет Мессалина,
Что в спокойной девчонке охотник таится —
И во мне эти качества могут ужиться.

Я хожу по натянутой нитке над бездной
И рискую в любую минуту исчезнуть;
Осторожна — но я обожаю опасность:
Между мною и мной безнадежная разность.

Я журавль и синица, мгновенье и вечность,
Беспощадность, жестокость и сверхчеловечность,
Я живу меж земной и небесною твердью,
Между явью и сном, между жизнью и смертью.

* * *

Закончен день и все его следы,
Декабрь неловко снегом заметает —
Тончайшим слоем зимней чистоты,
Которая к утру почти растает.
А в опустевшем доме — тишина;
Негромко время капает со стрелок
Часов, и пожелтевшая луна
Заглядывает в комнату несмело.
Роль сыграна. С лица стираю грим —

Окончен бал, закрыт театр абсурда:
Ночами все становится другим —
И снова изменяется под утро.
А в тихих синих сумерках зимы
Луна глядит на нас в немой обиде:
Мы только ночью, мы — и только мы,
Но этого, увы, никто не видит...

Елена ИЛЬИНА

Нет, не лампочка — свеча
Светит этой полночью.
Нет, не с горя — сгоряча
Я кричу о помощи.

Нет, не требую — молю
О своем спасении.
Нет, не пользуюсь — люблю
В эту ночь осеннюю.

Нет, не на год — на полдня
Я с тобой обвенчана.
Нет, не нас с тобой — меня
Не простит та женщина.

* * *

Нас познакомили ветер и листья,
Дождь верным псом нам зализывал раны,
Август своей отцветающей кистью
Выписал вечер пронзительно странный.

В тесной квартире напротив вокзала,
Куклу баюкая, словно живую,
Грустную сказку я рассказала,
Сказку о мире, в котором живу я.

Там все играют на маленьких скрипках
И умирают, ни разу не вскрикнув...

* * *

Отворите все окна! Вы слышите! — Голос...
Он прекрасен и чист, он высок и прозрачен,
Он и молит, и милует, шутит и плачет,
Он — грядущего песнь, он — ушедшего повесть.

Он вернет вам надежду, откроет вам двери
В мир прекрасного, вечную правду земного.
Милосердной сестрой у постели больного
Он залечит вам раны — научит вас верить.

Он — Любовь. Он — неистовство любящей плоти,
Он пронзит ваше сердце, ваш мозг, вашу душу.
Я не в силах уже эту исповедь слушать
Вместе с ним вы заплачете и запоете...

...Голос смолкнет. Вы окна закроете плотно.
Но останется в душах разбуженных ваших
Трепет неба, головокруженье полета.
И не страшно заснуть. И проснуться не страшно.

Владислав КРАПИВИН

БРОНЗОВЫЙ МАЛЬЧИК

Роман

Часть вторая

"Тремолино"

Рисунки Евгении СТЕРЛИГОВОЙ

ЧТО ОН ДЕРЖАЛ В РУКЕ

Утром Кинтель взял бронзового мальчика с собой. Положить его в сумку не решился — помнил историю с "Морским уставом" — сунул в карман. Это оказалось не очень-то удобно, уголки подставки царапали сквозь подкладку ногу, шорты от тяжести съезжали, пришлось покрепче затянуть флотский пояс. Кинтель пошел в школу в отрядной форме из какого-то веселого упрямства. А еще — из чувства особой, щемящей душу преданности "Тремолино", которая во много раз выросла после вчерашнего штормового плавания. И кроме того, хотелось, почему-то снова подразнить своим видом Алку Баранову (а может, просто покрасоваться перед ней?).

А потом он (если Алка не будет чересчур воображать и насмешничать) похвастается вчерашней экспедицией на Шаман и покажет находку...

Но Алка в школу почему-то не пришла. Кинтелю слегка взгрустнулось.

Кстати, никто особого внимания на его форму не обратил: школа пестрела всякими нарядами, день стоял совершенно летний, словно и не было вчера "арктического плевка". Лишь один старшеклассник, смерив Кинтеля взглядом, заметил: "Во, еще один скаутенок вылупился". И получил в ответ "драного козла". Однако за Кинтелем не погнался: старших одолевали более крупные заботы. Одиннадцатые классы бунтовали, не желая сдавать экзамены по программе, утвержденной педагогом. Глядя на них, волновались и девятые...

После шестого урока Кинтель встретил у школы Салазкина: такого же оранжевого и при аксельбантах. Кинтель весело сказал:

— Вот узнает Корнеич, что мы форму в школе треплем, будет нам на орехи.

Салазкин слегка смутился — видать, вспомнил вчерашнюю неприятность. На коленке у него все еще заметны были следы зеленки. Кинтель тихо спросил:

— Ты вчера, наверно, здорово на него обиделся, да?

Салазкин вскинул глаза — такие, будто и в них капнули зеленкой.

— Что ты! Ничуть... Я сам был сплошной дурак. А он ведь за каждого отвечает... Даня, ты заметил, как он перекрестился, когда сошли на пирс? Там, в Старых Соснах...

— Я... нет...

— Дело-то ведь было нешуточное, — совсем взрослому сказал Салазкин. — Особенно, когда о камни грохнуло...

— Я толком, кажется, ничего и не понял, — признался Кинтель. — Потому что новичок...

— Теперь уж какой ты новичок!.. А если бы что-то случилось, это было бы навеки ЧП имени Александра Денисова. Потому что я наворожил. Своей дурью.

Кинтель помолчал и спросил, преодолевши неловкость:

— Санки, а ты заметил: меня вчера почему-то перестали Кинтелем называть? Все "Данилка" и "Данилка"...

— А тебе как больше нравится? — По-новому или по-старому?

— По-всякому, — вздохнул Кинтель. — Ладно, пока. Я побегу, дед сейчас как раз на обед придет. Он ведь еще ничего не знает про это... — Кинтель похлопал по отвисшему карману.

Дед поставил бронзового мальчика перед собой и смотрел на него с хорошей, чуть печальной улыбкой. С такой же, с которой иногда рассказывал Кинтелю о своем детстве: как гоняли на пу-

стырях тряпичный мяч, пробирались без билета в летний фанерный цирк в городском сквере и уст-раивали на Сожинском спуске гонки на построен-ных из досок самокатах...

— И нос блестит... Так в точности блестел нос у моего приятеля, рыжего Вовки Постовалова, когда мать насильно умоет и вытрет его... И так же он замахивался на обидчиков.

— Думаешь, он замахивается? — спросил Кин-тель. В жесте мальчишки вроде бы не было угро-зы. Кулак, поднятый к плечу и повернутый сжа-тыми пальцами вперед, все-таки означал, скорее всего, приветствие. — Похоже на салют. Ну, вро-де как "рот-фронт"...

— Пожалуй, — согласился дед. — Хотя в ту пору не было еще никаких "рот-фронт"ов... А мож-ет, он заступается за кого-то? Без особой агрес-сивности, но с ощущением своей силы и справед-ливости...

— Слишком беззаботно стоит... Смотри, Толич, он что-то держал в руке, кулак просверлен.

— В самом деле... А может быть, не держал, а держался? Видишь, слегка отклонился влево.

— За что держался?!

— Ну, скажем, за ветку, за ручку колодезного ворота... за что угодно.

— А где тогда это "что угодно"?

— Видишь ли, мальчик мог быть не сам по се-бе, а деталью какой-то композиции. Скажем, большого письменного прибора. А на приборе ма-стер мог понастроить все что хочешь. Бронзовые вещи были тогда в моде.

Кинтелю это не понравилось. Не хотелось, что-бы мальчишка был чем-то вроде шахматной фи-гурки среди множества других. Нет, он — сам по себе. Веселый, храбрый, встретивший друзей. "Вот и я! Возьмите меня в "Тремолино"!"

— По-моему, он не от прибора. Смотри, здесь имя мастера выбито. Разве мастер стал бы свое клеймо ставить на каждую детальку? Выбил бы на общей площадке... Нет, этот пацан сам по себе отлитый!

— Возможно, возможно, — покладисто сказал дед. И уже как-то рассеянно. Сел на диван, от-кинулся к спинке, ладони — под затылок.

— Толич, а Оля... мама твоя... она ничего про бронзового мальчика не говорила? Может, это бы-ла у них с Никитой общая игрушка, а потом он спрятал ее для тайны...

— Нет, Даня, не помню... Мало ли у мамы было игрушек... Может быть, они об этом маль-чике что-то в своих детских дневниках писали...

— А где дневники?!

— Вот и я про то, что "где"... Сожгла мама все в тридцатых годах. Все старые бумаги.

— Зачем?!

— Господи, "зачем"... Я же рассказывал тебе,

какое было время. Боялись всякой мелочи. Вдруг кто-то прочитает, что твой дед был владельцем лавки! Буржуй, эксплуататор, враг трудового на-рода! Или на снимке увидят какого-нибудь твоего дальнего родственника в фуражке с кокардой. "В вашей семье были белогвардейцы?.."

— Все равно, — с обидой сказал Кинтель. — Можно было спрятать получше. Чего уж так тря-стись-то?

— Вот так, мой милый, и тряслись... — Дед смотрел перед собой. И в голосе была горестная усмешка. — Многие годы в постоянном страхе. А мама особенно. Если бы узнали, что ее муж был священником...

Кинтель сел рядом с дедом, поставил пятки на диван, а мальчика — себе на колено. Мальчик покачался и встал прочно. Искра блестела, лицо было задорное. Мальчик не понимал, как можно жить в постоянном страхе. И Кинтель сказал:

— Это же немисливо: бояться с утра до вечера, каждый день...

— Никто из молодых этого не понимает. А это было. И жили... И считали, что нормально. По-тому что ничего другого не знали. Нам же с рож-денья вдалбливали, что наша страна самая спра-ведливая, а там, на остальном белом свете, сплошной гнет и насилие... И сравнивать было не с чем... Вот представь, вылутился из икринки ка-рась в каком-нибудь полуозере-полуболоте. Что он знает о реках и океанах? Он считает, что бо-лото его — весь мир, такой, каким он и должен быть...

— Человек, он ведь не карась, — тихо возразил Кинтель. Было не то, чтобы жаль деда, а как-то неловко за него.

— Да... И где-то пробивалась, конечно, правда. Из обрывков каких-то, из старых книг. Из того же Пушкина и Салтыкова-Щедрина. Понятия о какой-то общей, всечеловеческой совести. Но ведь, с другой стороны, каждый день: "Самая главная правда на Земле — коммунизм!" И по-пробуй в этой правде усомниться! Даже мысленно — и то страшно: неужели я враг своему народу? А уж открыто...

— Но были же... которые против...

— Были, но немногие. Если даже и понимали что к чему, то все равно... Далеко не каждый мо-жет быть героем...

"Ты уже говорил про это", — подумал Кинтель.

— Понимаешь, какая подлая система! Она все время держала людей на грани! На страхе! Вспом-ни, ведь еще недавно все хором одобряли войну с Афганистаном! А если и проклинали, то шепотом. Многие ли выступали открыто?.. И это совсем в ближние времена. А раньше... И это в любой мо-мент могло коснуться каждого.

— Что "это"? — сказал Кинтель, покачивая мальчика.

— Ты ведь до сих пор не знаешь, почему я перестал быть морским врачом...

— Ты говорил: из-за сердца... А по правде почему? — Кинтель покосился на деда. Тот по-прежнему сидел с ладонями под затылком, смотрел перед собой.

— Плавал я на "Донецке" уже два года, когда появился у нас новый первый помощник капитана. Первый — значит помполит. "Помпа". Не штурман, а комиссар, который бдит за правильностью идеологии. И вот, когда стояли мы в Архангельске, пригласил он меня к себе в каюту. А там еще один — незнакомый, с лысинкой, в пенсне и в штатском костюме. Какой-то весь увертливый. Молчит, только слушает. А помпа заводит разговор:

"Вы, Виктор Анатольевич, молодой специалист, член партии, сознательный человек, разбираетесь в обстановке. Не согласитесь ли нам помочь..."

Гляжу я на лысого: ясно, кому это *нам*. Вербуют в стукачи, сволочи. Чтобы следить за своими и капать, кто что сказал и сделал. И первая мысль, конечно: послать их... А вторая: послать-то послать, но тогда — что? Вмиг найдется повод — прощай заграница. А предстоял рейс на Кубу — давняя мечта моя. Был я молод и горел жадной путешевий. До той поры, кстати, бывал только в скандинавских портах да в Польше и Германии. И вот ситуация: с одной стороны — Антилы, пальмы, летучие рыбы, восторг тропиков, а с другой... Думаю, а что с другой? Ну, скажу этим типам: ладно. Потом и отвертеться можно. Да и, в конце концов, не гестапо же сотрудничать приглашает, не ФБР или ЦРУ, а свои, советские. Вдруг и правда за границей какое шпионство встретится?"

"Ну, — говорю, — в общем-то я не знаю. Такое дело... Тут ответственность особая, и способности нужны..."

И тогда встречается лысый. Прямо как в старом анекдоте: "А вы попробуйте, Виктор Анатольевич. Попытка — не пытка. Мы вам доверяем..."

Ну, и... не сказал я нет. Пробормотал, что попробую, мол, раз уж так это надо...

Ничего особенного и не было сперва. Несколько раз помполит спрашивал между делом: "Ну, о чем говорят?" — "Да ничего такого, — отвечаю, — Вы же не хуже моего знаете. Экипаж у нас дружный, сплоченный, идейно выдержанный... Анекдоты, правда, травят, да не про политику, а все больше такие, знаете ли, неприличные, как всегда мужики в своем кругу..."

Пришли в Гавану, начались увольнения. Разбивают по трое, в одиночку ни-ни... Один в тройке — старший. Ну, пошли мы однажды гулять по

старому городу: я, радист Веня Соловьев и матрос Рябов. Не помню, как звали. Довольно пожилой уже, малоразговорчивый... Бродили мы, на старые бастионы смотрели, на мулаток. Потом решили в церковь зайти. Неужели, говорит Веня, революционные кубинцы Богу молятся? Зашли. Молятся. И пожилые, и молодежь. Даже два мальчика священнику помогают. Ну, а особенно и смотреть нечего, церковь скромненькая, не то, что соборы в Гданьске или Гамбурге... Одна картина мне понравилась, в боковом приделе. Богоматерь с Младенцем. Будто живые. Рябов тоже подошел, смотрит. А потом задержался еще, вижу: перекрестился украдкой...

А наутро вызывает меня помпа: что нового?

"Да ничего, — говорю, — все в ажуре".

"В самом деле? — И прищурился. — А то, что матрос Рябов религиозные ритуалы в иностранной церкви демонстрировал, тоже "в ажуре"?"

Значит, радист стукнул, паразит...

Мне бы заверить помпу: не видел и все тут. А меня забрало за печенку. Видно, есть предел человеческому маразму. "Не обратил, — говорю, внимания, товарищ первый помощник. А если бы и обратил, не счел бы данный факт нарушением. Потому как у нас, вроде бы, по конституции свобода совести, и каждый имеет право..."

"Даже за границей, где на нас постоянно направлены десятки вражеских глаз?!"

"А что он, — спрашиваю, — антисоветские лозунги, что ли, на паперти декламировал?"

"Ну-ну, — говорит помпа. — Вашу оригинальную точку зрения вынужден я буду сообщить куда следует..."

Тут меня и прорвало:

"Только попробуй, сволочь! Там, "где следует", узнают и то, как ты на одеколоне "Кармен" кораллы выменивал, которые к вывозу с Кубы запрещены! И что у тебя за дверной обшивкой спрячано!"

Про обшивку я уж так, наугад. Знал, что таким образом многие мелкую контрабанду прячут. Он, смотрю побелел, процедил: "Идите..." Ну, и на том наши контакты кончились до завершения рейса. А рейс длинный был. Я пару дней помучился всякими сомнениями (потому как не герой), а потом по наивности стал думать, что все обойдется.

Пришли опять в Архангельск, заглянул я с приятелями в ресторан отметить возвращение. Там какая-то шпана стала нарываться на скандал. И тут же — милиция. Загребли не их, а нас. Протокол об участии в коллективной драке (которой вовсе и не было). Загранвиза — прости-прощай... Тут я смекнул, чьих рук дело. По глупости попробовал права качать. Меня на медкомиссию: у вас сердце барахлит, не годитесь для плавсостава. А потом в военкомат: на два года пойдешь слу-

жить как офицер запаса. Я говорю: "У меня же сердце не в порядке!" — "Это там у вас сердце, а для нас в самый раз..." Ну и отрубил "две зимы, две весны" в Казахстане. Кстати, не жалею, хорошие там были ребята. Хотя, конечно, пришлось несладко. С Кларой, с бабушкой твоей, и с маленьким Валеркой обитали втроем в крошечной комнатке общежития... Потом вернулись сюда, ушел в санавиацию (и сердце оказалось ни при чем). В море больше не совался... Так и живу. С грязной плямбой на душе...

— С чего плямба-то... — скованно сказал Кинтель. — Ты же никого... не предал.

— Кроме себя. Когда не сказал сразу "нет", предал себя самого. Тут уж никуда не денешься... Спустил флаг, как Семен Михайлович Стройников...

— Стройников, может, посмелей многих был! — вскинулся Кинтель. — Он людей спасал!

— Ну... может быть. Тем более, А я спасал себя...

— Ничего себе "спасал"! Послал эту помпу ко всем чертям!

— После времени... Нет, Данилка, не обольщайся, дед у тебя никогда не был смелой личностью.

Кинтель встал, поставил мальчика на край стола. Потрогал на его виске бронзовый завиток. Сказал не оборачиваясь:

— Я знаю, почему ты на себя наговариваешь. "Видишь, какой я плохой, не жалею, что уехал от меня... И не вздумай возвращаться..."

Дед резко заскрипел диваном.

— Ты рехнулся? Да хоть сегодня перебирайся обратно!

— Нет уж, — вздохнул Кинтель. — Теперь нельзя. Сам знаешь...

Он затолкал мальчика в карман, пошел к двери. И, опять не решившись оглянуться, проговорил:

— Ты про себя хоть что рассказывай. А я тебя... все равно любить буду, не запретишь. — Он быстро вышел из квартиры и побежал к лифту. Слышал сквозь дверь, как из кухни кричит тетя Варя:

— Данила! А обедать?!

Пообедал он у Денисовых. Санькина мама встретила Кинтеля на улице, попросила поднести до подъезда тяжелую сумку, а потом не отпустила: повела "без всяких разговоров" есть суп и сосиски, которые раздобыла по великой счастливой случайности. "А то вон какой тощий! В точности, как мой обормот..." Кинтель давно уже был в доме у Салазкина своим человеком, стесняться и

отказываться не стал. Тем более, что сосиски последний раз он ел в прошлом году.

Отец Салазкина оказался дома, сели обедать вместе. На кухне, по-домашнему, И Кинтель за столом рассказал Александру Михайловичу и Санькиной маме о всех вчерашних приключениях. Многие родители знали уже от Салазкина, но бронзового мальчика видели, конечно, впервые.

— Если бы наш Санечка не расчистил спиной камень, ничего бы не было, — подвел итог Кинтель.

— Вчера вечером сам рубашку стирал, — сказала мама Салазкина. — Чтобы сегодня отправиться в ней в школу. До того упрямый стал...

Бронзовый мальчик стоял среди тарелок и блестел искрой на носу...

Дома Кинтеля сурово встретила Регишка.

— Где тебя носит? Я целый день одна...

— Большая уже. Занялась бы хозяйством.

— Я и так... Пойдем в парк?

— Мартышка, у меня завтра английский. Англичанка грозила парой за четверть тем, кто перевода не сдаст.

Уже пришел отец и грел на кухне ужин, а Кинтель все еще корпел над письменным переводом. Наконец закончил. Теперь не страшно, пускай спрашивают. Надо только для гарантии сверить текст у Алки...

И тут он вспомнил про Алкин подарок. Деревянное яйцо так и лежало в спортивной сумке, под костюмом!

Кинтель вытащил яйцо, покатав в ладонях. Показалось — внутри что-то стукнуло. Разве оно не сплошное? Кинтель поднес яйцо к окну, под вечерние лучи, пригляделся. Тонюсенькая щель делила яйцо пополам. Кинтель сжал скользкое дерево пальцами, поднатужился. Половинки скрипнули, шевельнулись. Кинтель сунул в щель ногти... Ура!..

В яйце пряталась голубая пластмассовая корбочка. В ней, опутанный тонкими проводками, лежал крошечный фонарик.

Он был шестигранный. Из прозрачной пластмассы, витой проволоки и древесного шпона. Такие фонари ставят на моделях старинных кораблей. И Кинтель сразу вспомнил про Алкиного брата, который занимался в судомodelьном кружке.

Специально заказывала? Или выпросила готовый? Ну, Алка...

Внутри виднелась лампочка от карманного фонарика.

Стесненно улыбаясь — не столько лицом, сколько в душе, — Кинтель вышел из дома, позвонил Алке из ближнего автомата.

— Привет. Кинтель это...

— А! Здравствуй... — Она как-то грустновато это сказала.

— Слушай, а я ведь только сейчас открыл яйцо-то! Вчера не догадался.

— Ты всегда был недогадливый...

— Ладно тебе! В общем... спасибо.

— На здоровье... Данилка.

С ума сойти! И она туда же!

Но тут Алка сказала уже веселее:

— Там проводки. Соединишь с батарейкой — загорится.

— Конечно! Я понял!

— Вот и хорошо.

— Слушай, Алка... А ты, что ли, специально вчера в такую даль перлась, меня у подъезда караулила? Чтобы подарок отдать?

— Не выдумывай! У нас на Сортировке знакомые, я к ним ездила по делу! А фонарик захватила... так, на всякий случай.

— Врешь небось, — сказал Кинтель задумчиво.

— Ну, считай, что вру... Включишь фонарик — вспомнишь...

— Я тебя, моя овечка, и так всегда помню, — перешел Кинтель на обычный тон. — И сейчас тоже. Ты английский перевела?... Ой, а почему тебя сегодня в школе не было? — спохватился он. — Завтра-то придешь?

— Не приду, Данилушка, — усмехнулась она. Странно как-то, будто издалека. — Я теперь вовсе не приду.

— Ты... чего это? Почему?

— Завтра уезжаем в Москву. А потом насовсем.

— Как это? Куда?

— Ты глупенький, да?

— Наверно... да, — сказал он без обиды. С неожиданной грустью.

— Туда, куда едут люди с фамилией Шварцман...

— Но... ты же... — Он совсем растерялся. Он же ее, Баранову, с детского сада знал.

— У меня мамина фамилия. А у папы Шварцман... Все документы уже оформлены и визы...

— Ну, ты даешь, Алка... — потерянно сказал Кинтель.

— Так что зажигай иногда фонарик...

Кинтель кашлянул и попросил серьезно:

— Давай, Баранчик, встретимся. Хоть на минутку.

— Зачем, Данилка?

— Ну... попрощаемся по-человечески.

— Мы вчера хорошо попрощались. Я тебя таким красивым запомнила... — Опять привычная Алкина насмешливость шевельнулась в голосе. Но чуть-чуть, ласково так...

Кинтель молчал. Алка сказала, как взрослая маленькому:

— Не расстраивайся. Может, я тебе письмо напишу.

— Ты же адрес не знаешь!

— Если бы не знала... как бы вчера оказалась у твоего дома?... — И пискнуло в трубке, заняли противные гудки.

Постоял Кинтель в будке. Подумал: не набрать ли номер снова? Не решился. Да и что тут скажешь? К тому же и двушки больше не было.

Большой печали Кинтель не чувствовал. Скорее грустную растерянность: "Эх ты, Алка... Как же я теперь без тебя-то? Ни английский сдать, ни подразнить как бывало..." Но, если копнуть себя поглубже, было за этой несерьезной грустью что-то еще. Более скрытое, тревожное и горькое. Словами не скажешь.

Пришел Кинтель домой, вытащил из старого кассетника плоскую батарейку, примотал к язычковым контактам проводки. Загорелась в фонарике желтая искра — славно так! Будто на носу у бронзового мальчика.

Кинтель вспомнил о мальчишке и сразу понял, что надо делать! Смастерил из тонкой проволоки крючок, приладил к фонарику. Сунул крючок в кулак мальчишки.

— Вот что у тебя было в руке...

Регишка, примостившись неподалеку, тихонько следила за Кинтелем. Когда фонарик опять вспыхнул — теперь уже у мальчишка, — она спросила:

— Мальчик кого-то встречает, да?

— Почему ты так думаешь?

— Светит, чтобы тот не заблудился...

"Как вчера маленький Федор..."

— Да. Регишка. Светит. И надеется...

Тайная, непонятная, ничем вроде бы не подкачанная надежда жила в Кинтеле со вчерашнего дня. Будто мальчик каким-то путем соединит Кинтеля и... ту, кого зовут Надеждой Яковлевной. Соединит в счастливом разрешении загадки... Думать о таком было боязно, и Кинтель инстинктивно отодвигал эти мысли.

Фотография с Теклой Войцеховной, Олей и Никитой висела ниже карты, в некрашенной рамке, которую Кинтель купил недавно у лотошника, в сквере рядом с "Художественным салоном". В самый раз оказалась рамка. Пра-прабабушка, Оля и Никита смотрели теперь из нее, как из окошка. На искрящийся фонарик.

"Ты будешь Никита. Как тот, кто тебя спрятал, — мысленно сказал Кинтель бронзовому мальчику. — Никитка, Ник... Ты будешь частичка того Никиты..."

Мальчик не спорил. Фонарик его горел ярко. И этот свет зажег опять крошечную искру на вздернутом носу Ника. Кинтелю вспомнился Новый год, когда они с дедом в комнате с упакованными вещами зажигали на елке лампочки. Тогда тоже

вспыхивали искры из меди — на старых, натертых ладонями дверных ручках...

Ручки большие, тяжелые. Из каждой могло получиться несколько таких Ников...

Пришел на ум Андерсен, "Стойкий оловянный солдатик". Кинтель по нему еще в детском саду читал вслух, и ребята слушали (и Алка). "Жили однажды на свете двадцать пять оловянных солдатиков. Все они были родные братья, — матерью их была старая оловянная ложка". Алка тогда еще высказалась: "Ничего себе ложечка. Целый половник, наверно".

Ручки тоже были "ничего себе". Тяжелые. Сделанные, наверно, еще во времена декабристов. Небось их уже отодрали какие-нибудь любители наживы. Дом пустой, лазят в него кому не лень. Вот скоро начнется ремонт, подвезут стройматериалы, тогда "Орбита" выделит сторожа. А пока тащат все что можно. На первом этаже рамы вынимали со стеклами...

Жаль, если ручки свинтят. Почему он раньше не сообразил, что надо их забрать? Прабабушка, мама Толича, говорила, что трогать их — дурная примета. Но это, когда семья жила в том доме. А сейчас-то что! И дом пуст, и прабабушки давно нет...

А ручки — они же просто музейные! И к тому же, если их привинтить к здешним дверям — это была бы частичка прежнего родного гнезда!

До чего же досадно, что разумные мысли приходят в голову после времени!

А может, еще не поздно? Может, мародеры не обратили на ручки внимания?

Кинтель заторопился. На кухне, в ящике с инструментами, взял большую отвертку, стамеску и молоток. Украдкой уложил их в школьный портфель. Жаль, что не было в доме карманного фонарика. Взять тот, что у Ника? Но много ли света от лампочки-крохи без рефлектора. Да и не хотелось обижать бронзового мальчишку, отбирать подарок. И Кинтель отыскал в кухонном шкафу старинную свечку, прихватил коробок со спичками. Так даже интереснее — будто Том Сойер...

Регишка заметила, конечно, что он куда-то собрался.

— Даня, ты уходишь?

Отец тоже встревожился:

— Куда на ночь-то глядя?

— К деду пойду ночевать. От него до школы ближе, а завтра у нас нулевой урок, с семи пятнадцати. Подготовка к контрольной по алгебре.

Это была правда, про урок-то. Но главное — не придется сегодня возвращаться на Сортировку, можно не спешить.

Поверх отрядной формы Кинтель натянул спортивный костюм. Не потому, что холодно, а для

маскировки — чтобы не светиться там, у подхода к дому, позументами и незагорелыми ногами.

Регишка спросила печально:

— А мальчика с фонариком с собой возьмешь?

— Нет, Мартышка, играй с ним... А завтра приду из школы, и поедem к Корнейчу. Муреныш по тебе соскучился... Пап, я пошел!

МЕДНЫЕ РУЧКИ

Только в десятом часу Кинтель добрался до улицы Достоевского.

Впрочем, одно название, что улица. В прилегающих переулках еще густо жили люди, а здесь, на отрезке от Первомайской до Дворянского гнезда, робко светились окна двух-трех уцелевших домиков. На месте остальных — зарастающие лопухами груды щебня, торчащие печки, остатки стен. И сумрачная пустая коробочка его, Кинтеля, дома... Зато многоэтажные "дворянские" утесы сияли за тополями россыпью огней.

Были уже сумерки. Мягкие, теплые. Висел в сиреневом небе неяркий месяц. Несло дымком — на окрестных огородах и в садах жгли прошлогоднюю листву и мусор. Оттуда слышны были голоса. Но здесь, по пути к дому, не встретила ни одна живая душа. Только два майских жука тяжело пролетели над головой...

Кинтель подобрался к дому со двора. Отодвинул доски на окне первого этажа (оно считалось заколоченным, но доски еле держались). Пробрался в темноту (сердце стучало). Пахло затхлостью нежилого помещения и всякой дрянью. Кинтель оскорбленно поморщился. Прислушался. Вроде бы никого. Ни бродяг, ни окрестных пацанов, ни любителей наживы. Но полностью он не доверился тишине. Пошел к внутренней лестнице на цыпочках. Ступил на нее тихо-тихо. А то ведь старые ступени имеют привычку скрипеть, особенно во время *приключения*. Не заскрипели, не выдали...

На втором этаже Кинтель замер и прислушался опять. Да, нигде не шевеления, ни вздоха. Дом будто подсказывал: не бойся, ты здесь один. И нервная натянутость ослабла, Кинтель почти обыкновенным шагом добрался до своей бывшей квартиры.

Двери были распахнуты. В окна сочились остатки света — полумрак такой. Но Кинтель не споткнулся бы и в полной темноте, он все здесь знал наощупь.

Ручки оказались на месте.

И тогда Кинтель успокоился совсем... А чего вздрагивать и волноваться? Это *его* дом! Он прожил здесь чуть ли не всю жизнь, он и сейчас имеет право быть хозяином!

Кинтель достал из портфеля свечу и спички, сел на корточки, зажег фитилек. Накапал на по-



ловицу стеарин, укрепил свечу в застывшей лужице. От огонька опять загорелись на ручках искорки.

Глубоким вздохом Кинтель прогнал остатки волнения, взял стамеску и молоток, начал постукивать — отковыривать вокруг ручки многолетние слои краски. Сперва еще прислушивался, потом работа втянула его. Думая теперь только о деле, отчистил он подкладку одной ручки и плоские головки шурупов. Их было шесть — три вверху и три внизу. Стамеской Кинтель проковырял шлицы, вставил отвертку...

Ну, конечно, сперва шуруп не шевельнулся. И Кинтель долго сопел и пыхтел, налегая на отвертку. Ладони скользили. Кинтель снял трикотажную фуфайку, обмотал рукоятку отвертки подолом, налег опять... Винт подался! Пошел, пошел... Кинтель вынул его, положил у свечки.

Но потом было то же самое со вторым, с третьим, с четвертым... Сколько же времени прошло? За окнами стало совсем темно, свеча сделалась гораздо короче. Ладони у Кинтеля горели. Наконец последний винт упал на пол. Кинтель дернул ручку, она оторвалась от двери с чавкающим звуком. Кинтель ожидал увидеть под ней след на высохшей краске и черные гнезда шурупов. Но в длинном, с фигурными концами, отпечатке темнела выемка. Шириной сантиметра в два.

Кинтель, ни о чем еще не догадываясь, почти машинально сунул туда палец. Что-то упруго шевельнулось под ним. Кинтель тихонько охнул, подцепил, потянул. На свет высунулся конец тугой бумажной трубки... Осторожно-осторожно, словно сапер, Кинтель потянул ее дальше. Сердце затихло, и тишина пустого дома стала плотнее в сто раз. Громко затрещало в этой тишине свечное пламя.

Бумажная трубка была перевязана толстой серой ниткой, узел с петелькой. Кинтель — ясно понимая, что открывает новую тайну, и замирая от этого — взялся за кончик. Узелок, завязанный неведомо в какие времена, распустился с шелковой легкостью.

Оказалось, что в трубку скатано несколько согнутых пополам больших листов. Бумага была ворсистая, сероватая, без линеек. Кинтель сел на корточки, ближе к свече. Развернул. Карандашные неровные строки покрывали все листы. Крупный разборчивый почерк.

Сразу в левом верхнем углу ударило в глаза:

"Оленька! Оля-Олюшка..."

Кинтель оторвал свечу от пола, поднес к листу.

*"Оленька! Оля-Олюшка, вольная волюшка!
Это пишу тебе я, Никита, твой Ник, твой*

Том Сойер. Пишу с дальнего Крымского берега, который стал последним берегом моей жизни..."

Вот как, значит... Все бумаги сожгла прабабка, а это письмо не решилась. Или не захотела!? Рука не поднялась? Видимо, самое главное письмо.

Кинтель, привычный к старой орфографии, поберем глазами по строчкам, пестреющим ятями, твердыми знаками и похожими на маленьких человечков "і". Будто не сам читал, а слышал дальний глуховатый голос.

"...который стал последним берегом моей жизни.

Так уж получилось. Мы не успели уйти на корабли союзников. Красные обошли нас, батарея оказалась в кольце. Два десятка солдат, два офицера — я и прапорщик Володинька Тулин, недавний юнкер. Были у нас снаряды, могли мы еще какое-то время отбиваться прямой наводкой. Но я, будучи командиром, сдал батарею.

Красные, уговаривая сдаться, обещали каждому жизнь и свободу. Я и Володинька знали, что они лгут, офицеров расстреливают безусловно. Но была надежда, что пощадят рядовых. Надеюсь на это я и сейчас, надеется и Володинька, и надежда эта согревает наши последние часы в каземате Михайловского рavelина.

Нас много тут, офицеров разных полков. Мне повезло больше других. Знакомый красный командир из охраны дал мне несколько листов и карандаш. Карандаш мы с Володинькой сломали пополам, бумагу поделили. Он пишет матери, а я тебе. Письма эти наш знакомый обещает передать по адресам при первой возможности. Он славный человек, бывший поручик инженерной роты. В шестнадцатом году мы вместе лежали в госпитале в Гельсингфорсе и довольно близко сошлись. А потом разметала нас судьба по разные стороны. Теперь он чуть не со слезами предлагал мне помощь, обещал вывести отсюда сквозь посты. Я отказался. Риск для него чудовищный. Да и как бы я бросил Володиньку?

И куда бы я делся потом на этом забытом красными войсками полуострове? И во всей России, где правит свой сатанинский бал торжествующее Зло.

И еще. Сдавши врагу батарею и сделавши все, чтобы спасти от напрасной гибели подчиненных, сам я не хочу просить у судьбы милости.

Помнишь, лет пятнадцать назад, когда отмечалось полвека Севастопольской обороны, выходил в приложении к "Ниве" роман "Под щитом Севастополя"? Мы читали его выпуск за выпуском. Там описывался и давний случай с русским фрегатом, который, будучи окружен турецким флотом, спустил флаг. Мы спорили тогда с то-

бою. Я гневно осуждал капитана за малодушие, ты же очень жалела его и других офицеров, которых император наказал со всевозможной строгостью: лишил дворянства, отправил в арстанты и матросы. Ты говорила, что кровавая бойня без всякой надежды на спасительный выход жестока и нечеловечна. Я же сердился, считая слова эти девчоночьей слабостью... Как меняет людей война. Вот и сам я сдал батарею. И теперь думаю, что командир фрегата неправ был в одном: ведь спасши других, мог он затем кончить свою жизнь для спасения чести. Впрочем, кто смеет его судить? Возможно, он считал своим долгом испить чашу до конца, а в самоубийстве видел грех, невозможный для христианина.

Мне такой грех не грозит. Красные возьмут это дело на себя.

Умирать не очень страшно. Такое чувство, что накопившаяся за эти годы усталость теперь навалилась разом и клонит, клонит в сон. Столько крови, столько бессмысленной ярости, столько смертей за шесть лет окопной жизни. Ты теперь не узнала бы своего капитана Ника. И я даже рад, что в памяти твоей останусь прежним. Тем полным боевого пыла мальчиком, который нетерпеливо прощался с тобой, уходя на германский фронт в четырнадцатом году. И думал, что война — это череда подвигов и блестящих побед.

Господи, какой же я был тогда ребенок. Оставил тебе карточку с засекреченным письмом вместо того, чтобы просто рассказать, как оно все было. Все еще играл. И думал, что станешь играть и ты.

А историю своего маленького клада я до сих пор вспоминаю с улыбкой. А ты ее так и не знаешь. Вот, слушай. То есть читай. О Бронзовом мальчике. Только извини, что я пишу так длинно. Ты, Олюшка, всегда меня бранила за нелюбовь к длинным письмам. Видишь, я исправился. Тем более, это мой последний с тобой разговор, а впереди у меня еще несколько часов. Володинька тихонько плачет над своим письмом, жаль его. Но мне плакать не хочется. Я улыбаюсь, мысленно возвращаясь в те дни.

Помнишь, когда нам было по десять лет, мы были Том Сойер и Бекки Тэчер. Книжку про них мы читали вдвоем множество раз. И однажды ты строго сказала, что я должен поцеловать тебя. В щеку. Не потому, что тебе хочется, а чтобы все было, как у Марка Твена. И это таинство свершилось в полутемном уголке вашей передней, и сердце у меня колотилось весь вечер.

А потом в лавке старьевщика на углу Корнеевской и Пароходной я увидел его. Маленького бронзового Тома Сойера — в точности такого,

каким я его представлял, только ростом в два вершка. И тут же понял, что нет лучше подарка для тебя, чем этот... Сколько тряпья, костей и драных калош таскал я этому вредному скрипучему мужику, который подсмеивался над лопухим гимназистиком и все набавлял и набавлял цену. И лишь в обмен на помятый серебряный подстаканник без ручки, который я с полным сознанием собственного греха похитил в домашнем чулане, злодей отдал мне сокровище. И я ликовал заранее, представляя, как в день твоего Ангела, в июле, я со словами, полными важного смысла, вручу тебе этот талисман и как обрадуешься и расцветешь ты. И, может быть, позволишь свершиться еще одному поцелую...

Но за неделю до именин тебя увезли с дачи в город, и папа, вернувшись, сказал, что у тебя скарлатина. И добавил, чтобы я не волновался, потому что, может быть, все обойдется без осложнений. Но я тревожился отчаянно, потому что слышал от папы прежде, как опасна для детей скарлатина.

А кроме тревоги была еще и тоска по тебе. И я, чтобы унять эту печаль и чтобы задобрить судьбу и заодно, наверно, утолить мальчишечью страсть к приключениям, задумал отважное дело. Рано утром унес из дома простыню, а от дачной пристани увел чужую лодку. Из двух шестов и веревок соорудил мачту с поперечиной, поднял на ней парус. До сих пор помню, как хлопала и полоскала на утреннем ветру простыня, которой выпало счастье стать парусом моей каравеллы.

Кое-какой опыт обращения с лодкой у меня уже был, но в дальние плавания, в одиночку, да еще под парусом отправлялся я впервые. Ради тебя, Оленька. Потому что я загадал: если выполню все, что задумал, то и болезнь твоя пройдет без следа и скоро.

Руля не было, правил я веслом. Могло случиться всякое, будь ветер покрепче, но он дул милостиво и попутно. И часа через два без приключений пригнал меня к Шаману, который для старших гимназистов служил местом свиданий, а нам казался окутанным легендами. Здесь под приметным камнем, где выбиты были какими-то влюбленными буквы Б + Л, я и зарыл Тома Сойера в коробках из жести и дерева. Примял и разровнял землю. Понимал, что никто не заподозрит, что на таком приметном месте, вблизи берега, зарыт чей-то клад.

Я представлял, как в конце лета мы приплывем сюда вдвоем, будем бродить среди камней, будто Бекки и Том на необитаемом острове, а потом я выведу тебя к знакомому месту и получу намеками открою тайну. И бронзовый Том Сойер окажется у тебя в руках. Это обязательно

должно было случиться. И потому никак не могло быть, чтобы твоя болезнь окончилась бедою.

Пришла пора возвращаться, и я понял, что главная трудность впереди. До той минуты я был почему-то уверен, что ветер ближе к полудню сменится на обратный. Но тот и не думал меняться. Мало того, держась прежнего направления, он сделался сильнее, пошли волны с гребешками. Под моим самодельным парусом, в лодке без кия и думать было нечего идти навстречу ветру зигзагами, в лавировку. Да я и не умел тогда... Я отважно начал грести к дому, но скоро понял, что путь этот мне совершенно не под силу. Двенадцать верст против волны и ветра!

Страх меня охватил тогда нешуточный. Но возвратиться на Шаман я не мыслил: это означало бы нарушение обета и могло накликать на тебя несчастье. Сквозь охватившую меня боязнь пришло все-таки здоровое решение. Спасение было одно: идти к ближнему берегу, до которого около версты. И я погреб. Этот путь тоже дался мне с трудом, стоил сорванной кожи на ладонях. Лодку сносило, сильно качала боковая волна, плескала через борт, могла и перевернуть. И все же я выгреб. Спрятал лодку в кустах, заранее зная, что придется признаваться, чтобы вернуть ее хозяину. Быть лодочным вором я не мог и помыслить, это же не подстаканник стащить из собственной кладовки.

А дальше начался пеший путь вокруг озера. Я представлял его с трудом и только понимал, что это не меньше пятнадцати верст. Чтобы не сбиться с пути, шел берегом, через лес, всякие буераки, болотистые ложбины и каменные горки. К счастью, на полпути, где к озеру подходила проселочная дорога, увидел меня знакомый садовник с соседней дачи. Может быть, помнишь, горбатый дядька Филипп. Он ехал из деревни Павлово. Окликнул, поохал, усадил на телегу и доставил докторского сына прямо к даче. Встрепанного, чумазого, в перепачканной матроске, изодранных чулках и с оторванной подошвой сандалии.

А дома была уже, конечно, паника. Папа и наша кухарка Федосья металась по всей округе в поисках. Тревожились и соседи. Как же: исчез еще до завтрака, не появился к обеду. Я, успевши уже отдохнуть в телеге, встретил расспросы и гневные упреки с мужской сдержанностью и суровой покорностью судьбе. Не стал принижать свой подвиг ложью и признался про все: про лодку, про унесенную ветром простыню и про дальнейшее плавание. Только о бронзовом мальчике ничего не сказал, объяснив свою экспедицию жаждой приключений.

Папа, убедившись, что я невредим, перешел от испуга и радости к исполнению необходимого ро-

дительского долга. Пересиливши природную доброту, он объявил, что на сей раз мне следует отправиться в сад и самому срезать подходящий к случаю прут. Я обмер, но сжал зубы и пошел. И добросовестно выбрал двухаршинную хворостину, поклявшись себе, что не пикну во время отцовской кары. Так же, как молчал Том Сойер, когда принял на себя наказание, предназначенное Бекки. Это была еще одна моя жертва. Перед лицом судьбы, которая распределяет в мире добро и зло, я своими страданиями надеялся убавить твои, как бы перекладывая их долю из одной чашки весов в другую. И загадал опять: ежли свое первое в жизни знакомство с розгою снесу без стоны и слез, это будет залогом того, что тогда уж ты выздоровеешь непременно.

Судьба, однако, на сей раз милостиво освободила меня от нового испытания, прислав спасение в лице твоей мамы. Текла Войцеховна приехала из города с сообщением, что тебе гораздо лучше. Узнавши о приключении и увидевши злое орудие возмездия, она решительно взяла меня под защиту, к удовольствию папы, который уже, несомненно, сам искал повода для амнистии.

Уведя меня на террасу, Текла Войцеховна стала рассказывать про тебя и угощать меня шоколадным драже из такой же коробки, в которой я спрятал на Шамане маленького Тома. И стала спрашивать про плавание, чтобы потом рассказать тебе. И тут я, позабывши капитанскую сдержанность, пустил слезу. Боль бы я перенес, а эту ласку снести не мог. Ты до сих пор не знаешь, Олюшка, как я завидовал, что у тебя есть мама. Как хотел, чтобы и у меня была. Такая же, как твоя. Пускай временами строгая, но с тем запасом любви, который окутывает тебя и защищает от всех печалей невидимой магической силой. И Текла Войцеховна это, без сомнения, понимала. Порой она ко мне была ласковее, чем к тебе, словно читала душу мальчика, у которого нет мамы. Иногда мне кажется даже, что она любила меня почти так же, как тебя. Упокой, Господи, душу ее. Завтра, в последний миг, я вспомню ее вместе с тобою и с теми, кого считал самыми дорогими в этой жизни..."

Кинтель закашлялся от сухого, оцарапавшего горло всхлипа. Но слез не было. Только расплавленный стеарин не первый раз уже сорвался со свечи, горячей слезинкой скользнул по пальцам, упал застывающей каплей на прочитанные строчки.

"...Но сейчас я не хочу думать про завтра. В эти минуты я снова там, среди дач, на улице Ильинской.

Ты появилась в августе. Такая похудевшая, коротко стриженная, что у меня сердце заходило от жалости. Была ты слабая, не могло и речи идти про плавание на Шаман. А потом начались дожди и кончились наши каникулы. Зимой же (не смеясь над тогдашним мальчишкой, Оленька!) явился мне во сне седой кудрявый старик в черном костюме — то ли Марк Твен, то ли святой угодник. И строго сказал: "О мальчике ей не говори, пока не станет большой". Кто не суеверен в детстве? Да и потом... Но я молчал не только из-за страха нарушить запрет. Больше — из-за того, что нравилось иметь тайну, которую я открою тебе когда-нибудь. С годами тайна эта крепла, как вино в глубоком погребе, набираясь особого смысла. Я мечтал даже, что может быть, это случится перед тем, как мы пойдем под венец. Я ни разу не спрашивал тебя, согласишься ли ты на это, но ты же понимаешь, что не думать про такое я не мог. Не сердись. Теперь ты все равно не сможешь огорчить меня отказом.

Едва ли ты разобрала письмо на нашей фотографии и едва ли откопала мой подарок. До того ли было в эти годы. Но если когда-нибудь бронзовый Том Соьер попадет тебе в руки, знай — это я. Приветствую тебя. Видишь, вскинул сжатую руку. Обрати внимание, кулак сжат не совсем плотно, в него можно просунуть проволоку или спичку. Кажется, мальчик что-то держал в руке. Я долго в те дни думал: что? Может быть, дохлую кошку из города Сент-Питерсборо? Но это скорее пристало Геку Финну. Деревянную саблю? Но рука в том положении, что саблю так не держат, она упрется в грудь. Свирель? Но слишком воинственно вскинут кулак. А может быть, в кулаке был хвастливо поднят садок с наловленной рыбой? Но где тогда удочки...

Я придумал вот что. Если все-таки Том будет стоять перед тобой, сделай для него фонарик. Такой крошечный, с наперсток, какие ты когда-то делала для елки. Из проволоки, серебряной бумажки и слюды. И вставь туда свечку-малютку с фитилем-паутинкой. Ты умеешь. И дай фонарик Тому в руку. Такой свечки хватит на несколько секунд горения, но эта искра пусть будет живым приветом от меня. В конце концов, что такое наши жизни, как не мгновенные искры на темном ветру?.."

Кинтель, обожженный внезапным совпадением, опять вытолкнул воздух сохнувшим горлом. И не заметил уже, как горячий стеарин с кулака льется на колено, горячо сочится сквозь трикотажную штанину.

"...мгновенные искры на темном ветру? Но

все-таки в этих искрах так много всего. И горя, и счастья. Да, и счастья. Потому что жизнь, это ведь не только то, что есть сейчас и будет потом. Тем более, что "потом" может и не быть. Главным образом жизнь — это то, что уже было, а в те ясные времена наших игр на улице Ильинской, тихих вечеров, когда кружится у абажура мошкара, наших любимых книжек, заповедных секретов и бесконечного лета были дни безоглядного счастья и чистой, всю душу заполняющей любви. И я благодарен за них Творцу. И тебе. И это никто у меня не отберет. Храни это и ты.

В наше сбившееся с пути время, когда страна наказана злом, все же есть еще какие-то проблески добра. И я молю Спасителя, чтобы капелюку из остатков этого добра он даровал и тебе, самому любимому моему человеку. Потому что, если не ты, то кто еще имеет право на глоток счастья в этом взбесившемся мире? Я надеюсь, что Господь будет к тебе справедлив и милостив. С этой надеждой и уйду.

Прощай и не плачь.

Твой Н. Т.

17 ноября 1920 г.,
очень раннее утро".

Кинтель осторожно поставил свечу в круглый след на застывшей стеариновой лужице. Положил рядом с ней последний лист. Прикрыл глаза. Устали ноги — столько сидел на корточках, — но он не шевелился. Зеленые пятнышки от свечки плавали в глазах. А в тишине — уже не плотной, а прозрачной, чистой — возник (будто издали пришел) первый звук той музыки. Словно где-то в квартале отсюда стояла среди сурепки и одуванчиков, играла специально для Кинтеля девочка-скрипачка. Про все играла. Про молчаливое прощание Ника Таирова с Оленькой и про вечную потом печаль этой Оленьки, вышедшей замуж за бывшего красного командира Анатолия Рафалова, который привез ей от Никиты последнее письмо. И про то, что все-таки была у Оли и Никиты в детстве ясная радость, которая сохранилась потом, как негасимый огонек — несмотря на все горести. Как упрямый фонарик в руке у мальчика... А еще, наверно, про Алку Баранову... И про светлое окошко на пятом этаже...

Она, эта мелодия, звучала в душе чисто и отчетливо. Так знакомо... И вдруг Кинтель понял, что есть здесь еще совпадение! Во второй фразе это музыки слышался его собственный сигнал! Те четыре ноты, про которые командир ребячьего оркестра сказал когда-то: "Ну, просто Итальянское каприччио..." Если сыграть их чуть помедленней, не на трубе, а на той певучей скрипке, они вплетутся в эту мелодию, словно так задумано дав-

ным-давно. Нарочно для него... Для Данилки Рафалова...

В этом открытии был намек еще на одну загадку. Оно, казалось бы, не имело отношения ни к письму, ни к бронзовому мальчику, ни к окну на улице Павлика Морозова, и, тем не менее, теплая, похожая на ласковое обещание уверенность тихо согрела Кинтеля. Словно кто-то шепнул ему: "Теперь будет все, как ты ждал..."

Кинтель осторожно, чтобы не расплескать новую надежду, стал выпрямляться. И в этот миг тяжелый удар сотряс музыку, тишину, дом. Пошел по всему пространству черными трещинами.

Кинтель упал, вскочил, бросился к окну.

В сумраке он различил вставшую напротив машину с грузовой стрелой. Висевший на тросе длинный предмет с нарастающей скоростью отплывал от дома. Не гиря, не ядро, а, видимо, бетонная балка. И пока она уходила от треснувшей стены для нового размаха, Кинтель успел передумать множество мыслей.

"Раз не чугунный шар, а балка, значит, не специальные ломатели! Незаконные..."

"Корнеич говорил, что какие-то типы предлагают исполкому кучу денег за разрешение поставить на месте дома кооперативные гаражи... Исполком чуть не согласился, но опять помогла газета..."

Гады, в темноте подобрались! И ребят не собрать сразу. Пока докричишься, разрушат..."

Эх, была бы труба! Но кто же знал...

— Стойте! — закричал он отчаянно. — Не смейте! В тюрьму захотели, паразиты?!

Но балка неслась уже к нему, к Кинтелю. Он отшатнулся. Бетонный груз ударил в косяк, внутрь комнаты полетели кирпичи, сверху посыпалось.

Тогда Кинтель вскочил на подоконник. Стекол и рамы не было, пустой проем.

— Стойте, сволочи! Бандюги! Не ваш дом, не смейте!!

Кто-то заголосил у машины:

— Гошка, там пацан! Тормози!

Другой голос ответил с матом:

— ...тормози! Как?.. Эй ты, пошел отсюда!

Он не пошел. Загораясь яростной правотой и ясным бесстрашием, он знал теперь, что остановить врагов можно только самим собой! В конце концов, он не Стройников, он отвечает за себя за одного!.. И когда балка бетонным концом опять сокрушающе врезалась в стену — левее и ниже подоконника — Кинтель не упал, не сорвался. Толкнувшись от косяка, он прыгнул на балку и вцепился в трос. Встал!

Миг балка была неподвижна, потом все быстрее и быстрее пошла назад, и Кинтеля охватило ощущение жутковатого полета. А снизу неслись вопли

и матерщина. Но и в этом страхе, в этом полете Кинтель не потерял головы.

— Не смейте, гады! — снова кричал он. А потом увидел в сумерках, будто метнулись вдали по улице маленькие тени! Может, ребята играют в ночные пряталки? Показалось даже — мелькнула собака. Ричард? Значит, и Салазкин?!

И Кинтель закричал еще громче, со смесью отчаяния и злого азарта:

— Ребята! Санки! Дом ломают! На помощь!..

Балка замерла в очередном замахе и понеслась обратно. Внизу, кажется, ее пытались удержать за волочившийся трос. Разве удержишь!.. Но Кинтель не боялся. Он чувствовал, что запаса инерции теперь не хватит, чтобы балка ударила в стену...

Он не учел другого. Клен! Балка слегка изменила путь, ветка хлестнула мальчишку по плечу, зацепила капроновый аксельбант, и Кинтель грянулся на щебень. Перевернулся несколько раз и оказался лежащим навзничь. У фундамента своего дома.

Двинуться он не мог, тупая несильная боль от затылка растеклась по мышцам неодолимой слабостью. Но Кинтель слышал еще, как подбежал кто-то, выругался, постоял секунду и кинулся прочь. Ухнула земля, это машина сбросила балку и трос. Заурчала, разворачиваясь и втягивая стрелу. Уехала, кажется. Тихо стало...

На верхнем карнизе окна, из которого Кинтель выскочил, появился оранжевый отсвет. И Кинтель ясно понял, что свеча упала на письмо, огонь пошел по листам, потом по сухим обоям, клочьями висящим на стене...

"Жаль письмо. Полностью теперь не вспомнишь..."

"Ох и крику будет из-за сгоревших учебников..."

"А ручки не сгорят, можно будет потом найти. Хорошо, что вторую и отвинчивать не придется..."

Потом отблеск на карнизе исчез. И сам дом исчез, и темное небо. Только маленькая искра еще долго дрожала во тьме, словно вдали стоял с фонариком в руке бронзовый Том Соьер, Ник...

ОГНЕННЫЙ КЛЕН

Мальчишки там не играли в тот вечер, Кинтелю просто показалось. Они примчались к дому лишь тогда, когда отовсюду стало видно бьющее из-под крыши пламя. Джула прибежал, Эдька Дых, Рюпа. И Салазкин из своего Гнезда. Вместе с Ричардом. Ричард и учуял Кинтеля, кинулся к нему с жалобным лаем. За ним ребята. В тот момент к дому еще можно было подойти...

Скорая приехала раньше, чем пожарные. Когда с воем примчались красные машины, сухие стро-



пила, потолочные балки, дощатые перегородки и лестницы, полы и масляная краска стен пылали всюду.

К утру от дома остался черный выгоревший остов без крыши.

Тех, кто пытался разрушить дом, так и не нашли. Да скорее всего, не очень-то и старались найти. Ходил слух, что в площадке для гаражей на этом месте заинтересовано было и милицейское начальство.

Короче говоря, то, чего не сделали разрушители со своей бетонной балкой, сделал огонь. Теперь о ремонте нечего было и думать.

Да об этом и не думали. Все мысли были о Кинтеле. Называли всякие травмы. Перелом основания черепа и много еще другого... Опытный хирург, хороший знакомый деда, сделал Кинтелю операцию. И сказал потом виновато: "Все, что возможно... Теперь зависит от организма, как он сам..."

А сам Кинтель был плох. В сознание не приходил. Не открывал глаз, не размыкал губ. Опутанный проводами и шлангами, он лежал в палате реанимации, и только нервные стрелки приборов показывали, что мальчик жив. Еще жив... Так прошли сутки, вторые. Дед, отец, тетя Варя дежурили в больнице по очереди. Впрочем, не все время дежурили. Потому что сиди — не сиди рядом, ничем все равно не поможешь, а за состоянием Кинтеля следили медсестры. Состояние это называлось коматозным. Когда человек в глубоком беспмятстве и ни на что не реагирует. То ли жив, то ли...

Впрочем, это лишь казалось, что Кинтель ничего не чувствует. Придавленное глухой тяжестью и необоримой ленью сознание все-таки вбирало в себя обрывки чужих фраз, движений и, кажется, даже мыслей. Востраивало их в цепочки. Кинтель знал, что дом сгорел, но виноватых не нашли, что люди очень встревожены его беспмятством и считают, что он умирает. Сам он этим встревожен не был. Он думал о себе отстраненно, как о другом человеке. Мало того, иногда он словно видел себя со стороны: неподвижного, подключенного к разным аппаратам.

Вроде бы он видел и тех, кто был рядом. Один раз даже показалось, что в палате появился Салазкин. Тихий, неподвижный, с растрепанными волосами и горестными зелеными глазами. С тощими и поцарапанными ногами, торчащими из-под белого халата. Кинтель мысленно улыбнулся, понимая, что Салазкин-то уж явно привиделся. Кто же пустит мальчишку в больницу, да еще в такую строгую палату...

Но Салазкин действительно пробился в больницу. Кажется, на четвертые сутки. Помог белый халат, который нашелся дома. Его в давние вре-

мена сшила мама, когда ухаживала за крошечным заболевшим Саней — чтобы он привык к белому и не пугался приходившего врача и медсестер. В этом халате Салазкин проскользнул мимо строгой вахтерши, которая решила, что у мальчика пропуск. А потом помогли Салазкину его непривычные для взрослых вежливость и затем слезы, которые рванулись сами собой... И молодой чернобородый врач сказал двум другим:

— Ладно, пусть постоит у порога. — И добавил вполголоса: — Не все ли равно теперь...

И Салазкин с минуту стоял у двери маленькой палаты, где на единственной кровати, среди каких-то блестящих ящиков и трубок лежал неподвижный, почти незнакомый Кинтель. Суровую безрадостность слов "не все ли равно теперь" Салазкин тогда не понял.

Он понял это позже, на следующее утро, когда опять пришел в больницу. Там, в вестибюле, он встретил Виктора Анатольевича. Спросил полупотом:

— Он... как?

Дед Кинтеля, глядя мимо Салазкина, потоптался, развел руками и вдруг вздернул плечи и быстро вышел на улицу.

Салазкин обмер и ослабел. Но тут же, рывками натягивая халат, кинулся на второй этаж. На этот раз — под крики вахтерши и медсестер. Он успел добраться до Андрея Львовича — того чернобородого доктора. Нашел его в ординаторской.

Несколько секунд они молча смотрели друг на друга с горьким пониманием.

— Что ли... совсем без надежды? — выдавил Салазкин.

Андрей Львович так же, как дед Кинтеля, глянул мимо Салазкина. Сказал излишне ровным голосом:

— Пока человек жив, надо надеяться. Даже тогда, когда уж совсем...

— А он... совсем?

— Беги-ка домой, Саня, — насупленно посоветовал Андрей Львович. — Вопросами делу не поможешь...

И Салазкин пошел. Не домой, к Корнеичу. И лишь через квартал понял, что идет в белом халате...

Дома у Корнеича теперь постоянно был кто-нибудь из отряда. А по вечерам собирались все. Потому что вместе легче переносить тревожное ожидание и неизвестность. Иногда кто-нибудь приводил и Регишку. Потому что очень уж тошно ей одной-то, когда отец на работе или в больнице у сына...

Впрочем, тоскливой расслабленности в отряде не было. Скорее — нервная ожесточенность. И желание хоть как-то ответить неизвестным гадам,

из-за которых все несчастья: и с Кинтелем, и с домом.

И ответили.

Паша Краузе напечатал на машинке Корнейча вот что:

В этом доме
в 40-х годах XIX века
жил декабрист Ф. Г. Вишневецкий.
В наши дни этот дом
хотели отдать детям.
Его уничтожили враги
города и детства.
Его до последней минуты
защищал последний трубач
отряда "Тремолينو"
Данилка Рафалов,
которого зовут
Кинтель.

Паша сперва написал не "зовут", а "звали", но Сержик Алданов молча показал ему это слово и покрутил у виска пальцем. Паша испуганно порвал бумагу и напечатал все заново.

Текст сняли на пленку "Зенитом". И на больших листах фотобумаги, пятьдесят на шестьдесят, напечатали в десяти экземплярах. Буквы стали большими, высотой в сантиметр. Черные на белой блестящей поверхности они читались издали.

Взяли банку эпоксидной смолы и отвердитель, приготовленные для строительства шхуны. Наклеили бумагу на прямоугольные древесностружечной плиты, оставшиеся от ремонта востречовской квартиры. Той же смолой — для прочности — покрыли текст.

Паша Краузе, Дим, Салазкин и Не Бойся Грома пришли к сгоревшему дому и прибили доску со стороны улицы, вгоняя тяжелые гвозди в щели между обугленными кирпичами. Тут же собралась компания "достоевских". Смотрели молча и одобрительно. Только Джула спросил недовольно:

— А почему "последний"? Вы что, его уже заранее похоронили? И себя заодно?

Паша хмуро, но миролюбиво разъяснил, что никто не хоронит отряд. "Тремолينو" будет жить, сгори хоть весь город. Шхуну построят прямо на берегу, под навесом на базе. И крышу себе найдут в конце концов. И Кинтеля никто не отпевает. Но чем бы все это ни кончилось, кроме Данилки Рафалова, трубачей в отряде больше не будет. Он со своим сигналом — единственный. Это теперь ему как бы вечное звание. Как награда и память на всю жизнь...

А майский день был теплый, радостный, и диким казалось, что в такое время может кто-то умереть. И даже не "кто-то", а всем знакомый Кинтель, товарищ, давний житель этих мест...

Зеленели клены, и только самый ближний к до-

му стоял обгорелый. Словно в наказание за то, что ветки его сбросили Кинтеля на землю. Но разве он был виноват? Ведь не мог он посторониться.

— Жалко дерево, — сказал Дим. — Сгорело заживо...

Маленький Рюпа сел на корточки.

— Оно отрастет. Смотрите, у корней поросль...

Не Бойся Грома вдруг стянул с себя красный галстук и привязал к обугленной ветке. Тогда и Салазкин, задрожав от горького волнения, сделал то же. И, глядя на них, оставили на обгорелом клене свои галстуки Паша Краузе и Дим.

Местные смотрели на это молча и с пониманием. Потом разбежались по домам, отыскивали галстуки, в которых давно уже не ходили в школу. И тоже привязали их к черным скрюченным сучьям. Клен, потерявший майскую листву, словно обрел теперь другую — пламенную. Она длинными языками трепетала на теплом ветру.

...Через сутки оказалось, что доску сорвали и унесли. Но ребята прибили другую. А вечером Джула рассказал Саньке, что приезжали на машине двое, опять нацеливались на доску. Но свистнул дежурный, сбежались местные пацаны, встали цепочкой. Толстый дядька чиновничьего вида сказал им:

— Зачем это, дети? Вы создаете ненужный ажиотаж. Развалины все равно скоро снесут.

— Найдем, куда прибить, — ответил маленький Рюпа. Дядька пожал плечами. "Жигуленок" уехал. На всякий случай записали его номер...

А галстуков на клене прибавилось. Говорят, приходили незнакомые ребята, оставляли свои. Было теперь здесь и несколько разноцветных — от скаутских и разных других отрядов. Но особенно густо горели на солнце алые. И клен был словно опять охвачен пламенем в потоках плотного и ровного зюйд-веста.

Салазкин шагал из больницы пешком и оказался у тополя, когда был уже полдень. Пора идти домой, собирать портфель для школы. Но Салазкин стоял и смотрел на клен. Как он полыхает... Клен полыхал весело, по-боевому, а Кинтель в больнице, несмотря на это, умирал. Салазкин понимал теперь с полной ясностью, что надежды нет. Плакать не хотелось. По крайней мере, не очень. Потому что было сейчас, как на войне, а там, говорят, над погибшими не плачут. И Салазкин просто стоял и смотрел на огненный клен. С глубокой и слегка горделивой печалью: "У меня умирает друг..."

Потом он заметил, что один галстук сорвало и отнесло ветром, запутало в прошлогоднем репейнике. Салазкин, царапаясь, достал его. Положил под кленом сумку с халатом, глянул наверх. Он

решил забраться к верхушке, чтобы завязать этот галстук выше других.

И полез, пачкая себя сажей обугленных ветвей.

Он остановился лишь тогда, когда ветки стали потрескивать под ним. Привязал галстук за гибкий, казавшийся живым прутик. Алая материя выпелом рванулась из ладоней.

Салазкин спустился. Постоаял, глядя вверх.

"У меня умирает друг..."

Привязав галстук, Салазкин сделал для Кинтеля все, что мог... Или мог что-то еще?

Мог. И обязан был! И он решился на то, о чем до сих пор думал отрывочно и несмело.

К счастью, была суббота, для многих выходной день, и она оказалась дома.

Открыла дверь, вздрогнула, отступила, взяв себя тонкими пальцами за подбородок. Может, испугалась перемазанного вида мальчишки?

— Здравствуйте, — сказал Салазкин тихо, но решительно. — Вас зовут Надежда Яковлевна?

— Да... входи.

Он шагнул через порог.

Надежда Яковлевна отступила еще. Спросила то ли со страхом, то ли со скрытой болью:

— Чего ты хочешь, мальчик? Я... слушаю...

Глядя в ее худое, с печальными складками лицо, Салазкин все так же негромко, но твердо проговорил:

— Извините. У вас был сын. Да?

— Да... Да!.. А ты...

— Я его друг.

Надежда Яковлевна села на приступок у зеркала, глянула ищущим, недоверчивым, растерянным взглядом.

— Но... я не помню тебя. Да нет, не может быть. Ты гораздо младше.

— Всего на два года. Это неважно... Сейчас ничего неважно, Надежда Яковлевна. Вы ничего не знаете, а он... сейчас в больнице. В очень плохом состоянии... — Салазкин не посмел сказать "в безнадежном"...

Она прижалась затылком к собственному отражению. Пальцы на подбородке закаменели, брови сошлись.

Салазкин строго сказал:

— Все ему говорили, что вы погибли, но он не верил. И узнал, где вы живете...

Она как-то обмякла, положила руки на колени, нагнулась к Салазкину.

— Я что-то начинаю понимать... Наверно, именно этот мальчик опустил мне в ящик под Новый год открытку, которая на месяц уложила меня в больницу?

— Да... но разве вы...

— Нет... — выдохнула она. — Нет, мальчик,

нет... Это просто... такое вот совпадение. У меня был сын, Витенька, двенадцати лет. Он умер три года назад от лейкемии. Не здесь, в другом городе... И я приехала сюда, потому что не могла там одна... И вдруг открытка: "Мама, поздравляю..."

— Это я посоветовал ему, — прошептал Салазкин.

Помолчав и отвернувшись, она спросила:

— Сколько ему лет?

— Тринадцать... завтра было бы...

— Почему... "Было бы"?

Салазкин всхлипнул, но не отвел глаз.

— Потому что, наверно... не успеет...

— Так плохо?

Он кивнул, но опять поднял глаза.

— Надежда Яковлевна... Теперь ведь не имеет значения. Говорят, он иногда что-то чувствует сквозь... бессознание. И он поймет, что вы пришли. И будет думать... Хотя на последний час ему радость... Он надеялся целый год...

— Господи... Почему он решил, что я его мама?

— Говорит, похожи... Может, он даже откроет глаза и увидит... — Салазкин отвернулся, заплакал уже открыто.

— Господи... — сказала опять Надежда Яковлевна. И потом еще, с усилием: — Я несколько дней провела в палате, когда умирал Витя. До самого конца... Ты думаешь, я выдержу это еще раз?

Салазкин глянул мокрыми испуганными глазами.

— Извините... Я так не думал... Я об этом вообще не думал. — Потом сказал спокойней и уже безнадежно: — Дело в том, что я думал только о Дане...

— Его зовут Даней?

— Да...

Они молчали долго. Салазкин хотел уже прошептать: "Извините, я пойду..." Надежда Яковлевна вдруг поднялась. Медленно, будто с тяжелым мешком на плечах.

— Ладно, идем...

— Нет... если так, то, наверно, не надо... — забормотал он.

— Теперь это не тебе решать. И не мне. Наверно, судьба...

Она вдруг стала спокойной, строгой даже:

— Пошли... Хотя постой, иди-ка сюда. Где ты так вывозился...

Надежда Яковлевна за плечо ввела Салазкина в ванную. В теплой воде намочила конец махрового полотенца, решительно и умело оттерла Салазкину щеки, ладони, колени. Щеткой почистила рубашку, без успеха, впрочем.

— Идем.

На лестнице она спросила:

— Где больница?

— На Московской, областная...

На улице они не пошли к трамваю. Надежда Яковлевна подошла к обочине, решительно проглотила первую же "Москвичу". Тот тормознул.

— Нам нужно в больницу, очень срочно. Там мальчик... На Московской.

— Садитесь, — буркнул молодой водитель, мельком глянув на Салазкина.

— Спасибо... Ох, я оставила деньги! Вы подождете минуту?

— Садитесь. Мне все равно в ту сторону...

Помчались. На полпути Надежда Яковлевна вдруг шепотом спросила:

— Мальчик, а меня пустят?

— Я добьюсь, — тихо сказал Салазкин.

Он добился. Его уже знали здесь и недолго сопротивлялись отчаянной просьбе позвать Андрея Львовича. Скоро чернобородый доктор оказался в вестибюле.

— Вот... — сказал Салазкин. — Это его... мама. Она должна...

Андрей Львович посмотрел на мальчишку, на женщину. Почему-то оглянулся на лестницу. И сказал уже ни на кого не глядя, опустив глаза.

— Хорошо, Саня, дай Даниной маме свой халат, так будет быстрее...

Вот и все. Он сделал, что мог. Теперь надо было идти домой, потом в школу. Обедать, сидеть на уроках, жить...

Но Салазкин опять пришел к обгорелому клену. Тянуло его сюда, словно за каким-то утешением. За спасением. Но не было теперь ни утешения, ни спасения. Ни надежды. Понимание того, что Кинтель вот-вот умрет, надвинулось беспощадно. Уже без всякой гордой печали, без той значительности, которая была во фразе: "У меня умирает друг".

Салазкин понял, что до сих пор все-таки не верил в это до конца. Пока делали доску для дома и привязывали галстуки, пока он пробивался в больницу и даже пока разговаривал и ехал с Надеждой Яковлевной — это все еще была какая-то игра. Это отвлекало мысли и силы от того самого страшного, что неизбежно приближалось. А теперь отвлекать было нечему. И страшное, безысходное ощущение потери обрушилось на беззащитного Салазкина со всей своей черной беспощадностью.

Он прижался лбом к обожженному стволу и зашелся в отчаянном плаче. Потому что как он будет на свете, когда Кинтель, Дания, Данилка Рафалов умрет?

...Но Кинтель не умирал.

Мало того, он и не собирался умирать. Тьма и свинцовая тяжесть еще лежала на нем, но не было в них той абсолютности, которая давила прежде.

Он не мог умереть. Иначе в каком одиночестве окажется Регишка!.. И кто будет зажигать фонарик у бронзового Тома Соьера?.. И кто расскажет, что было в спрятанном под медной ручкой письме?

И впереди столько дел! Надо строить шхуну "Тремолино-2". Надо разыскать родственников или друзей семьи Алки Барановой и узнать у них ее заграничный адрес. Надо выучить полный набор сигналов для трубы, чтобы тот, самый первый, самый главный, играть лишь в особо важные моменты... Надо вновь ощутить счастье парусного плавания... И много чего еще надо успеть и сделать...

Чашка весов, качнувшись в сторону жизни, теперь уже не могла остановиться. Потому что тепло этой жизни шло неудержимо от узкой горячей ладони, которая лежала на запястье у Кинтеля. Он знал, чья это ладонь. И она спасала его. И сердце стучало все отчетливее, все ровнее. И шевельнулись ресницы...

ЭПИЛОГ

Тринадцатилетний Генри Линдерс, трубач первой роты ее величества морского десантного полка, был огорчен до крайности. Война не получалась. Она была совсем не такой, какой виделась Генри вначале, когда он, обалдевший от счастья, узнал, что по ходатайству полковника Томсона зачислен в беломорскую экспедицию.

Военная экспедиция эта состояла из трех пароходов с четырнадцатью орудиями на каждом, и командовал ею капитан королевского флота Омманей. Он держал свой флаг на пароходе "Бриск".

Это грозное плавание было частью большой войны, которая начинала разворачиваться в 1854 году на Черном море, на Балтике и даже в Тихом океане. Пока главные силы англичан, французов и турок точили зубы на Севастополь, пока флот адмирала Непира подбирался к Кронштадту и Бо-марзунду, а эскадра адмирала Прайса — к Петропавловску на Камчатке, задача капитана Омманей была громить русские гарнизоны и крепости на Белом море и блокировать торговые пути.

С точки зрения Генри Линдерса, капитан Омманей справлялся с этой задачей скверно. Точнее, не справлялся совсем, пятная своей нерешительностью военный флаг Британского королевства.

Нельзя же считать всерьез боевыми действиями захват нескольких мелких купеческих судов, груженных рыбой и хлебом и не имеющих никакого оружия. А промеры фарватеров у острова Мудьюг для подхода к Архангельску имели скандальную

развязку. Шесть английских шлюпок были встречены ружейным огнем с канонерских лодок и пальбою двух полевых орудий с берега и ни с чем вернулись на пароходы.

Желая смыть мелкие неудачи крупной победой, капитан Омманей с пароходами "Бриск" и "Миранда" 18 июня подошел к Соловецкой обители. Стены и башни монастыря, отражавшиеся в тихой воде, производили впечатление грозной крепости. Что же, тем больше славы принесет королевскому флоту и капитану Омманею штурм твердыни и ее капитуляция. Тем выше будет цениться добыча. О сокровищах монастырских церквей ходили легенды.

Генри Линдерс, однако, не думал о добыче. Единственной мечтою был геройский штурм русской цитадели. Упоенно билось сердце, когда представлял он, как первым выскочит из шлюпки, вспрыгнет на береговой валун и, заиграв сигнал атаки, жестом адмирала Нельсона укажет доблестным солдатам ее величества путь к пробитой в стене брешу. Затем он вместе с ними кинется туда, к дывному проему, чтобы не отстать от героев...

Лишь бы русские не струсил раньше времени и не вздумали поднять белый флаг до начала штурма!

Может, и не сдадутся. В ответ на тридцать орудийных выстрелов с пароходов монастырь отпнулся несколькими ядрами из трехфунтовых пушчонок, да так удачно, что разбил на "Миранде" верхнюю часть рубки и навывлет прошел ее дымовую трубу. Свистнуло ядро и над палубой "Бриска". Генри не дрогнул.

Командующий эскадрой приказал пароходам отойти, а на следующий день отправил с парламентаром на берег суровое требование. Содержание письма было известно всем офицерам, матросам и солдатам. Капитан флота ее величества Омманей объявлял русским, что, произведя пальбу по английскому флагу, Соловецкий монастырь "принял на себя характер крепости" и "в удовлетворение за враждебные действия" главнокомандующий Британской эскадрой на Белом море требует безусловной сдачи. В случае же, если комендант не передаст лично свою шпагу на пароход "Бриск", русская крепость подвергнется немедленному бомбардированию.

Генри молил Бога, чтобы комендант в Соловках собрал все свое мужество и не отдавал шпагу до штурма.

Вскоре парламентар привез ответ за подписью "Соловецкий монастырь". В письме сообщалось, что выполнить требование господина капитана Омманей обитель не может по двум причинам. Во-первых, в ней нет никакого коменданта, а есть лишь настоятель архимандрит Александр, который

шпаги, естественно же, не имеет. Во-вторых, не смотря на отсутствие личного оружия и склонностей к бранным утехам, отец Александр, тем не менее, уповая на Божью помощь, надеется постоять за веру и землю Русскую. Как стало известно позже, владыка уповал еще и на твердость своих иноков и богомольцев и небольшой инвалидной команды во главе с прапорщиком Николаевым.

В ответ на дерзость загремели орудия "Бриска" и "Миранды", посылая в крепость громадные бомбические снаряды. Десять монастырских пушек отвечали бодро и умело. В церквах зазвонили колокола.

Более девяти часов продолжалась канонада, но древние каменные стены были чересчур прочны. Мало того! В подзорные трубы можно было разглядеть, что никто из бесстрашных участников крестного хода, двигавшегося вокруг обители по стенам, ничуть не пострадал, хотя ядра не раз пробивали деревянную крышу галереи.

Генри был уверен, что наутро командующий велит повторить обстрел и затем отдаст приказ десанту. Но капитан Омманей малодушно распорядился развести пары и удалиться, признав безуспешность своего покушения на "Цитадель оф Солофски".

Признаться, Генри даже всплакнул в уголке кубрика от сознания, что рушатся все его мечты.

Нет, он ничего не имел против русских, это были честные и храбрые противники. Но какой смысл был отправляться в экспедицию, если надежд на подвиг оставалось все меньше!

Через два дня, разграбив по пути несколько деревенок и церквей, экспедиция подошла к селению Плахты, стоявшем на невысоком берегу среди редких сосен и валунов. Около сорока дворов и деревянная церковка на взгорке. Командир первой роты майор Грей сообщил командующему эскадрой, что видит среди камней и заборов несколько людей с ружьями.

Капитан Омманей приказал готовить десантные шлюпки.

В шлюпку, где был майор Грей, прыгнул и Генри.

Когда подходили к берегу и высаживались на песок, селение казалось обезлюдившим. Но едва цепь стрелков двинулась к домам, как из-за валунов и сложенных штабелями бревен ударил встречный залп. Три королевских солдата грянулись замертво, еще несколько легли на землю, прижимая ладони к ранам. Ответные выстрелы, проклятия и команды смешались в ушах у Генри. И он едва разобрал, что двум десяткам солдат велено обойти противника слева и ударить ему в тыл.

— Первого же пленного офицера — ко мне! — кричал майор Грей...



Но никаких офицеров не было в Плахтах. Из военных там жили только двое: бывший уже в отставке унтер-офицер Босов и отставной же рядовой Ивлин, которые по причине начавшейся войны подали недавно прошение о зачислении их на повторную службу. А также находился в селении губернской секретарь Волков, оказавшийся там по ревизионному делу. Он тоже был ранее в военной службе и посему принял на себя командование гарнизоном, куда, кроме Ивлины и Босова, вошли два десятка поморов. Оружие их было — мушкеты времен еще государя-императора Петра Алексеевича. Зато храбрости не занимать.

Едва показались в белесом безветренном море неприятельские дымы, баб и ребятишек отправили в ближний лес, а мужики собрались в маленькой церкви на молебен о ниспослании помощи в отражении супостата.

Служил молебен отец Федор. Настоятелем здешнего храма стал он недавно. Раньше был здесь отец Пантелеймон, давний житель этих мест, для всех как родной. Но немощный и старенький, на девятом уже десятке, по весне он преставился, и селяне били челом Соловецкому владыке: пришли нового священника. Ибо невозможно церкви и селению без пастыря. Архимандрит Александр на просьбу отозвался, отправил в Плахты иеромонаха отца Федора. Тот был человек лет шестидесяти, прямой, строгий, молчаливый. Вначале смутил жителей внешней суровостью. Вскоре, однако, увидели, что вроде бы и не суровость это, а скорее какая-то неизгладимая печаль. Оказалось, за прихожан болеет душой, о недужных имеет постоянную заботу. Особенно же ласков был с ребятишками, которые раньше других разглядели за хмуростью теплое сердце...

После богослужения отец Федор не оставил защитников селения, пошел с ними, чтобы в трудный миг не дрогнули душою. Причем не только словами Святого писания поддерживал в поморах твердость духа, но и давал дельные советы, как лучше расположиться по укрытиям. Это говорило, что не всегда отец Федор посвящал себя монастырскому послушанию, было в его жизни и что-то иное...

К моменту высадки англичан шестеро поморов и отец Федор оказались на правом краю позиции в некотором отрыве от других сил гарнизона. Отец Федор рассудил, что в этом месте, под прикрытием кустарника, противник может обойти защитников и перерезать дорогу к лесу.

Оно и правда, такая попытка случилась. Десятка два англичан, укрываясь меж валунов и в сосновой поросли, хотели тайно пройти в тыл. Красные мундиры их, однако, выдавали движение. Отбить превосходящего по числу и оружию врага можно было лишь дружностью неожиданного огня.

У каждого помора было на тот случай по два ружья, а у солдата Ивлины к тому же и пистоль. И только отец Федор был без всякого вооружения, лишь тяжелый наперсный крест сжимал в правой ладони.

— Готовсь, братцы, — приказал Ивлин, и стволы, качнувшись, замерли над ветками и камнями. Теперь оставалось ждать, когда солдаты выйдут на открытое место перед засадой.

Первыми вышли трое — два высоких стрелка и солдатик в непомерно большой мохнатой шапке, с изогнутым блестящим горном в руке. Кто-то из поморов неловко шевельнулся в засаде. Два солдата вмиг упали ничком, боясь огня. Маленький же скачком взлетел на валун и затрубил, указывая левою рукою туда, где заметил опасность. Михайло Батюхин, молодой, быстрый на руку помор, укрывавшийся рядом с отцом Федором, вскинул фузею. Грянул выстрел. Но за миг до того отец Федор снизу ударил крестом по оружию.

— Опомнись! Мальчонка же!

Пуля рванула с мундира трубача красно-золотой полосатый наплечник. Мальчик уронил трубу и стал медленно падать с камня.

Выстрел, вскрик отца Федора смешались тут же с другими выстрелами и криками. Англичане кинулись было в атаку, но второй залп погнал их назад. Нападавшие отступили, не подобрав даже горниста и еще двух упавших товарищей. Видимо, сочли, что противостоящий им враг весьма силен.

Сделавши свое дело, засадная группа готовилась отойти к лесу. Но прежде подошли к упавшим. Быстрого взгляда было достаточно, чтобы понять: оба солдата сражены наповал. Отец Федор и Михайло Батюхин наклонились над трубачом. Тот был с белым лицом, закрытыми глазами. Шапка отлетела. Волосы светлые, как у здешних ребятишек.

— Палишь, не глядя в кого... — глухо сказал отец Федор.

— Сгоряча не разглядел, что малой. Вижу, своим на нас кажет... Неужто насмерть? Вот грех-то на душу...

— Да нет, оцарапало малость, вот и обмер. Видать, первый раз в таком деле...

— Чего же они, басурманы, детишек-то на смертоубийство.

— Бывает такое... В герои рвался мальчик...

— Ресницами шевелит, — прошептал Михайло...

Генри поднял ресницы и увидел над собой бордатовое лицо с темными глазами. Очень болело плечо. Но страха не было.

— Я ранен? — спросил он через силу.

— Да. Но, надеюсь, не опасно, — бородатый

говорил по-английски довольно хорошо, хотя и с акцентом. — Вы совершили славный поступок и своим сигналом спасли жизнь многим товарищам. Теперь, однако же, вы в плену, таковы превратности войны...

— Меня расстреляют?

Бородатый чуть улыбнулся.

— Вас отправят в один из городов и вылетят. Думаю, жизнь в России не будет для вас суровой, русские не обижают пленных. Особенно таких... юных и храбрых...

— Тогда дайте попить, — сказал Генри, но тут опять стало темно и тихо...

— Возьми его на руки, — велел отец Федор Михайле. — И пошли... Отходим все!

Через час отец Федор вернулся в селение. Один. Так он решил, запретив кому-то идти с ним.

Дома горели, едкая гарь висела в жарком безветренном воздухе. Солдаты тащили к шлюпкам награбленные вещи.

Никем не остановленный отец Федор подошел к церкви. У нее горела ветхая крыша, и было ясно, что скоро церковь запылывает вся. Несколько солдат и пожилой офицер стояли у крыльца. Из церкви выскочили еще двое. Один с парчовым покрывалом, другой с большим образом Богородицы с Младенцем в посеребряном окладе.

Отец Федор шагнул к рыжему детине, взялся за икону. Сказал по-английски:

— Отдайте. Вы же солдат, а не грабитель. Божие достояние не может быть военным трофеем.

Рыжий выпустил икону, отступил на два шага, взял штуцер, который держал под мышкой, и выстрелил навскидку.

Отец Федор сел на землю. Выпустил икону. Прижал руку к пробитому пулей боку, лег навзничь. Закусил губу.

— Джон Робертс! — закричал пожилой офицер. — Вы с ума сошли! Это же священник! Вы забыли, в какой вы армии!

— Господин майор, я не нарочно! Я хотел попугать! — завопил рыжий детина. Кажется, искренне.

— Сержант, арестуйте солдата Робертса. Он нарушил закон...

— Оставьте, майор. Какие у войны законы... отчетливо сказал священник.

Майор Грей нагнулся.

— Я надеюсь, ваша рана не опасна.

— Думаю, что наоборот... Если не трудно, прикажите солдатам положить меня на ровное место. На доски... И еще прошу вас: не трогайте икону. У вас и без нее довольно добычи, а для здешних людей это реликвия...

Неподалеку сложен был широкий штабель свежего теса: думали к осени сделать на церкви новую кровлю. Отца Федора уложили на доски, икону пристроили рядом. Солдаты были смущены и отходили один за другим.

— Я прикажу перевезти вас на пароход, — сказал майор Грей.

— Вот уж не думал... что офицеры ее величества берут в плен священников.

— Я не для того! У нас на судне доктор!

— Не надо. Едва вы отойдете, как наши люди вернуться из леса и окажут помощь... если она будет нужна... — Отец Федор слегка задыхался.

— Но разве есть у вас врач?

Отец Федор опять улыбнулся. С усилием:

— Зачем врач, если Господу угодно будет моя кончина. А если нет... Не утруждайтесь, майор, я у себя дома...

Майор Грей сказал нерешительно:

— Мы выбрали на месте стычки двух солдат, но не нашли трубача. Вам известна его судьба?

— Да. Слегка поцарапан и отправлен в тыл...

— Если вы в силах, то не могли бы способствовать его возвращению? Мы пришлем парламентаря...

— Боюсь, что поздно. Скорее всего, его уже повезли в Холмогоры.

Это была правда. На укрытой в лесу бричке губернского секретаря собирались отправить ближайшему начальству донесение и пленного.

— Плен — слишком тяжелое испытание для ребенка, — сказал майор Грей.

Отец Федор слегка поднял голову.

— А пули? Не слишком тяжелое... испытание? Посылать детей на войну — совместимо ли это с христианскими заповедями?

Майор ответил неохотно:

— Это его судьба. Он сирота, воспитанник полка...

— Он ребенок... И счастливая судьба его, может быть, в том, что плен спасет от смерти... Успеет еще повоевать, когда вырастет.

— Может быть, вы и правы, — помолчав, отозвался майор. — Тогда прощайте, ваше преподобие. И еще раз примите мои соболезнования... Не думал, кстати, встретить здесь кого-то, знающего наш язык. Судя по всему, вы джентльмен.

— Что вы имеете в виду? Дворянство? Был когда-то...

Майор Грей слегка поднял брови.

— Мало того, майор, я был, как и вы офицером. Только плохим...

Майор Грей сказал учтиво:

— Я не заметил в вас недостатка храбрости.

— Этого мало. Чтобы быть хорошим офицером, надо уметь без колебаний посылать на смерть множество других людей. У меня это не получи-

лось. И государь не простил. Вот и вышло: сперва матросская лямка, потом ушел в монастырь, ибо в Господе единственное видел утешение и спасение. И оправдание, если хотите... Простите, что открываю душу незнакомому человеку. Боюсь, что другому уже не успею.

— Давайте все-таки на пароход!

— Нет, благодарю вас, майор... О судьбе мальчика при случае вас известят через парламентаря... Главное, что мальчик остался жив...

* * *

...Мальчик остался жив!.. Мальчик жив! — Эта летучая весть пронеслась по больничным коридорам, вырвалась за ее стены, сделала счастливыми многих людей. Ушел от них изматывающий душу страх, ушла тоска...

И женщина, которая неотрывно провела у его койки множество часов, наконец расслабила плечи, откинулась на спинку стула, закрыла глаза.

— Вам надо поесть и поспать, — сказал ей чернородый доктор Андрей Львович.

— Как? Уйти?.. Нет. Еще нет!

— Вам сюда принесут еду. И поставят раскладушку.

— Но я еще посижу. Немного...

Доктор наклонился над мальчиком. Почти все провода и шланги были уже убраны. Щеки порозовели. Ресницы иногда дрожали, и дважды сомкнулись и приоткрылись губы, неслышно обрисовав звуки "м" и "а".

Женщина оглянулась на врача, сказала просительно:

— В конце концов разве дело в кровном родстве...

— Конечно, конечно... Вы все же поешьте и отдохните, прошу вас. А я пришлю медсестру для укола.

— Зачем?! Разве ему хуже?

— Не для него. Для вас. Иначе вы сляжете...

— Ну, хорошо... — она с трудом заставила себя убрать ладонь с запястья мальчика. Тот опять шевельнулся.

— Кстати, — вспомнил Андрей Львович, — дайте я хотя бы задним числом выпишу вам пропуск. Надежда Яковлевна... а, простите, как ваша фамилия?

Она улыбнулась. Теперь, когда страшное осталось, кажется, позади, в ней появилась излишняя суетливость и нервная разговорчивость.

— Да-да, пропуск, конечно... Моя фамилия Линдерс. Девичья. Когда я развелась, взяла ее снова... Говорят, у нас предок был англичанин и в середине прошлого века попал к русским в плен. Это в ту пору, когда Севастопольская оборона и так далее... Он так и остался жить в России. Странные бывают судьбы, верно?

— Бывают, — вежливо согласился доктор.

А женщина вдруг опять резко нагнулась над койкой.

— Что с ним? Так замер...

— Он просто спит, — сказал Андрей Львович.

Кинтель спал. И видел сон. Будто он с Салазкинским, с ребятами, с Корнеичем и даже с Алкой Барановой плывет на пароходе по неширокой реке с низкими берегами. Пароход старинный, неторопливый, позванивает медным колоколом и на поворотах задевает берег то одним, то другим гребным колесом. Стаями поднимаются из камышей крикливые журавли.

День без солнца, с плотными синеватыми облаками, но ветер ласковый и теплый. А река впереди распахивается — там то ли озеро, то ли морской залив.

От пасмурного горизонта, быстро вырастая в размерах, спешит навстречу кораблик. И очень белыми кажутся на фоне темных облаков его паруса. Все, кроме кливера. Тот — как пунцовый проблеск. Под кливером искрится на бушприте фонарик.

Кинтель знает, кто на этом кораблике.

А машина парохода стучит спокойно и ровно, как одолевшее невзгоды сердце.

Урок четвертый: православная церковь на Урале

Те, кто пользуется материалом наших уроков, непременно обратили внимание, что мы не имеем в виду только доступное изложение известных исторических сведений. Это не сладенькая кашка привычной истории.

Уроки выносятся на широкую аудиторию основательно забытый или новонайденный материал исторических первоисточников. Мы пытаемся, по мере сил, возродить просветительскую традицию, когда и подступы к научным открытиям делались не в зашторенных от любопытного глаза лабораториях, не в малотиражных и труднодоступных изданиях, а на "ветру" вузовской и школьной аудитории, в массовых журналах и научно-популярных брошюрах.

Очерк, который мы предлагаем в качестве очередного урока, возвращает из области забвения одно из памятных имен в истории уральской церкви.

И одновременно с этим воспроизводит атмосферу, в которой бытовала на Урал монастырская вотчина.

Автор очерка Сергей Анатольевич Белобородов, сотрудник научной библиотеки Уральского отделения Российской Академии наук и археографической лаборатории УрГУ.

Он много работает в архивах и вместе с тем преподает в высшей школе.

Сергей БЕЛОБОРОДОВ

История "кровожаждущего" архимандрита

В 40-е годы семнадцатого века на месте слияния рек Исети и Течи на западном склоне Уральских гор возник новый монастырь. На долгие годы ему суждено было стать не только русским форпостом на востоке страны, но и важным торговым и культурным центром Зауралья.

Настоятелями Далматовского Успенского монастыря были люди незаурядные. Их дела и судьбы вписываются заметными страницами в историю православия на Урале. Это и старец Далмат (в миру — Дмитрий Мокренский), строитель и первый игумен монастыря, один из пионеров заселения восточных окраин России, и сын его Исаак (в миру — Иван Мокренский), летописец монастыря и его настоятель, при котором мона-

стырь из деревянного был обращен в каменный. Нам предстоит вспомнить и вписать в скрижали истории еще одно имя — архимандрита Иакинфа (в миру — Андрея Кашперова), человека больших дарований, со сложной, но яркой и богатой событиями судьбой.

Родился будущий архимандрит в 1721 году в семье рядового священника Тобольской епархии и, по прошествии времени, тоже стал священником. В 27 лет он овдовел, причем народная молва приписывала ему убийство собственной жены, утверждая даже, что оружием в семейной драме стала "мерзлая рыба, помнится — щука".

Как бы там ни было, а овдовевший священник вскоре постригся в монахи и принял имя Иакинфа. Вероятно уже тогда

стала проявляться незаурядная натура будущего архимандрита, которого современники называли "человеком неученым, но одаренным от природы беспоконным деятельным характером, способностями хозяйничать и строиться и держать в ежовых рукавицах своих подчиненных". Иакинф сумел обратить на себя внимание начальства и вскоре сделался наиболее приближенным лицом митрополита Сибирского и Тобольского — Сильвестра (в миру — Главатского), получив весьма престижный пост эконома тобольского архиерейского дома. Карьера его пошла стремительно. Через год (в марте 1751-го) Иакинф назначается казначеем всей митрополии, а еще через два — игуменом Кондинского Троицкого монастыря, выросшего близ слия-

ния рек Кондушки и Оби. В 1755-м он был рукоположен в архимандриты и определен настоятелем Межугорского Предтеченского монастыря вблизи Тобольска.

И митрополит Павел II (Кнюскевич), сменивший Сильвестра, тоже благоволил к молодому архимандриту. Кроме должности эконома, он возложил на него управление всеми делами Тобольской духовной консистории. Примечательно, что именно с этого времени митрополит Павел вплотную занялся старообрядцами и несомненно, что консистория и прежде всего ее новый управляющий оказывали в этом главе сибирской церкви всемерную помощь.

Нередко усердие гонителей старообрядцев переходило все границы, вызывало недовольство даже в Сенате и Синоде. Например, в конце января 1761 года в Екатеринбурге появились священник Алексеев и прапорщик Кокшаров, которые стали доискиваться у местных и шарташских староверов, "кто у них требы ведет". Алексеев доложил в консисторию, что "в Екатеринбурге оказалось раскольников множество, что венчаны в лесах раскольническими попами, которыми и дети их крещены..."

А из Тобольска незамедлительно последовал указ действовать энергичнее, после чего "комиссия" Алексеева начала особенно жестокое преследование старообрядцев. Жители жаловались на взятки, грабежи, аресты, и в декабре того же 1761 года из Сената пришел указ о защите екатеринбургских и шарташских староверов. Оказалось, что "комиссия" была создана Алексеевым самовольно, по собственной инициативе. Гонителя примерно наказали, однако Иакинфу, по всей видимости, удалось выйти сухим из воды.

Не исключено, что Иакинф сыграл какую-то роль и в судь-

бе старообрядческого писателя и видного деятеля раскола М. И. Галанина. Не случайно, что после тобольских допросов и пыток, в которых участвовал сам Владыка, Галанин был переведен "на покаяние" в Далматовский монастырь, настоятелем которого в то время уже был назначен Иакинф. Назначение совпало с начавшимся в 60-е годы XVIII столетия на Урале массовым движением приписанных к монастырю крестьян, известным под названием "Дубинщина". Далматовский монастырь оказался в центре охваченных волнениями областей, и поэтому выбор кандидатуры настоятеля был весьма ответственным.

Архимандриту Иакинфу предписывалось "употребить все меры к водворению в монастырских вотчинах спокойствия и к подчинению их законной власти". Под руководством Иакинфа монастырь был основательно укреплен и около двух лет выдерживал крестьянскую осаду. За воинские "подвиги" архимандрит был отмечен как своим начальством, так и противоборствующей стороной. От повстанцев он получил прозвище "кровожаждущий", которое навсегда присталло к имени Иакинфа.

Любопытно, что некоторые современники считали архимандрита едва ли не главным виновником волнений монастырских крестьян. В частности, сибирский губернатор Ф. И. Соимонов докладывал в Петербург о "неудовольствиях архиерейских крестьян на жестокое управление эконома архиерейского дома Иакинфа", которые, мол, и вылились в бунт. В Тобольск даже прибыла специальная комиссия Синода, результатом чего стало смещение... митрополита Павла.

В 1774 году стены Далматовского монастыря вновь подверглись осаде — на этот раз повстанцев Емельяна Пугачева. Однако им так и не удалось за-

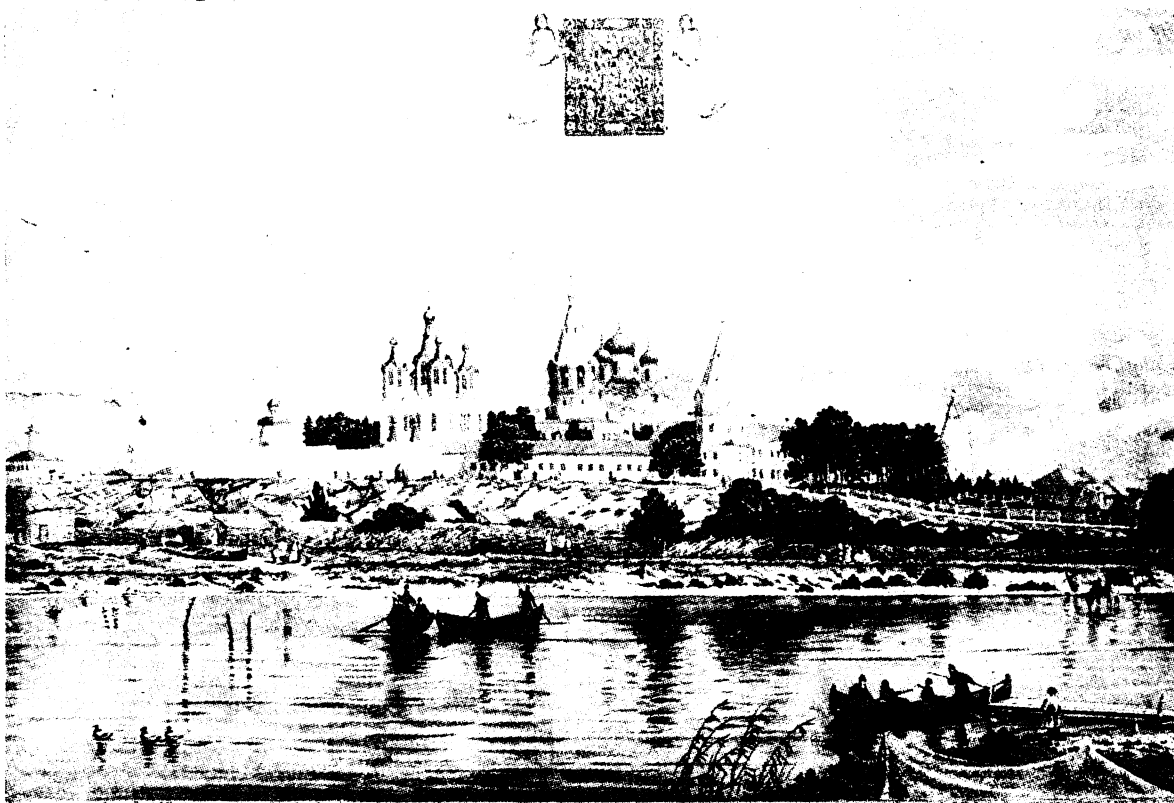
хватить крепость. На монастырских башнях были установлены орудия, и драгунская команда, при активной помощи монахов, стойко оборонялась до подхода войск генерала И. А. Деколонга. За организацию обороны монастыря архимандрита Иакинфа наградили похвальной грамотой от Священного Синода.

Занимался архимандрит делами и более отвечающими его настоятельским обязанностям. Еще будучи игуменом Кондинского монастыря Иакинф немало заботился о внешнем и внутреннем убранстве храмов. Его стараниями в монастыре была "заведена" серебряная вызолоченная риза весом в 15,5 фунтов (около 6 кг) на древнюю икону Пресвятой Троицы, ставшая одной из достопримечательностей монастырской ризницы.

Способности архимандрита "хозяйничать и строиться" проявились и при благоустройстве Далматовского монастыря. При нем капитально отреставрированы все старые церкви, налажено печное отопление алтарей Успенского собора, выстроена новая церковь Всех Скорбящих над усыпальницей старца Далмата. В результате, как отмечалось в прошлом веке, "в сооружениях Далматова монастыря мы имеем единственный художественный памятник для всего обширнейшего восточного склона нашего Урала".

В 1776 году тобольский архиепископ Варлаам (Петров) возвел Иакинфа в степень первоприсутствующего в Далматовском духовном правлении. Теперь архимандрит наблюдал уже около 50 церквей и 34 часовни. Современники опять отмечали радение Иакинфа по хозяйственной части. Он заботился о постройке новых храмов и реконструкции старых.

В Далматове пекся о монастырском парке, приведя его в образцовый порядок. Были высажены аллеи из берез, сосен,



ДОЛМАТОВСКИЙ УСПЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ.

лип и других деревьев, а также из ягодных кустарников. Выстроены по указанию настоятеля обогреваемые оранжереи для выращивания экзотических цветов, овощей и фруктов.

Хорошо поставил Иакинф и монастырское училище. В четырех его классах дети церковнослужителей обучались чтению, пению и письму. Библиотека монастыря значительно пополнялась новыми книгами, в том числе и светского содержания. Появились, например, такие: "Феатрон или Позор нравоучительный", "Лексикон трехязычный" Федора Поликарпова, сочинение Стефана Яворского "Камень веры" и другие.

По всей видимости, у Иакинфа была и личная, так называемая "келейная" библиотека. Во

всяком случае, рукопись "Описание Китайского государства" известного дипломата и писателя XVII в. Н. Г. Спафария принадлежала лично архимандриту.

На книге этой сохранилось несколько записей. Первая: "от монаха Венедикта Шурского" (возможно, что им же переписана и часть текста); вторая: "от числа книг Успенского Далматова монастыря настоятеля Архимандрита Иакинфа".

В 1770-е годы рукопись кто-то заново переплел — лист переплета более поздний, чем бумага, на которой написан основной текст книги. На этом листе написано: "Николая Спафария, влаха, Посольского приказа переводчика, бывшего послом в Китае. Описание Китайской империи и сопредельных со оною

стран, в 1678 г. сочиненное. А. Рогозинский 1778". Тем же почерком на обороте листа добавлено: "Сию книгу в Казани 1778 г. подарил мне генерал поручик и кавалер, граф Петр Федорович Апраксин, которую получил он в Далматовом монастыре, и где он находился под началом за увезение фрейлины графини Разумовской, и за бракосочетание на ней при живой жене".

Что же это за Апраксин такой? Петр Федорович был сыном внуки первого российского фельдмаршала Александры Михайловны Шереметевой. Двенадцатилетним он был записан в гвардию. Кавалерийским офицером участвовал в сражениях Семилетней войны, после — служил в шведской и француз-

ской армиях. Потом был уволен в отставку в чине генерал-лейтенанта.

В Петербурге 54-летний граф увлекся 18-летней красавицей — дочерью гетмана Разумовского и тайно обвенчался с ней, оставив первую супругу — Ягужинскую, которая вскоре постриглась в монахини.

За столь явное нарушение норм морали Апраксина осудили и выслали в отдаленный Далматовский монастырь. При этом никто кроме сотрудников Тайной Экспедиции и очень ограниченного круга людей не знал причину высылки.

В 1775 году граф прибыл в монастырь. Ему отвели низенькую келью на первом этаже, с железными решетками на окнах. Воинский караул неусыпно следил, чтобы граф не только не покидал монастыря, но и никуда, кроме церкви, не отлучался. Запрещено было принимать посетителей, иметь чернильницу и перо. Разрешалось только читать Библию и назидательные духовные книги. Единственный человек, с кем общался узник, был архимандрит Иакинф. Видимо он и передал Апраксину "Описание Китая", которое тот захватил с собой, когда в 1778 году по болезни был переведен на жительство в Казань.

Об Адриане Васильевиче Рогозинском, напомнившем нам о драматической истории графа П. Ф. Апраксина, известно совсем немного. Он был артиллерийский офицер, в 1770-х годах служил в Казани. Вышел в отставку полковником и остаток дней доживал в своем калужском имении.

А судьба самой рукописи "Описание Китайского Государства" такова. В середине XIX века она попала в библиотеку одного рижанина. Потом ее приобрела Императорская Публичная библиотека, и теперь она хранится в Отделе рукописей Государственной национальной библиотеки в Петербурге.

Возвращаясь к архимандриту Иакинфу отметим, что он несомненно способствовал распространению книг и книжной грамоты. Ведь именно Иакинф осваивал первую сибирскую типографию купца В. Корнильева в Тобольске в 1789 году о чем сказано в особом "летучем листке".

В Далматовском монастыре Иакинф провел свыше 15 лет, после чего был переведен в Соликамск настоятелем Пысковского Преображенского монастыря. С возникновением Пермского наместничества и "назначением Ягошихинской слободы губернским городом, с наименованием Пермь" в 1781 году, генерал-губернатор Е. П. Кашкин обратился в Синод с ходатайством о переводе Пысковского монастыря в Пермь, что должно было повысить статус нового губернского города.

Синод согласился, и на долю престарелого Иакинфа выпало немало "трудов, беспокойств и огорчений". Он пытается реализовать за "надлежащую цену" монастырскую колокольную медь, подыскивает мастеров, чтобы перелить старый 300-пудовый колокол, расколовшийся во время пожара, в новый 500-пудовый, помещенный затем на пермской кафедральной колокольне.

Время проходило в хлопотах: он живет в упраздненном монастыре и лично наблюдает за разборкой зданий, организует отправку кирпича в Пермь, уточняет с архитекторами место для нового монастыря, закупает строительные материалы, ищет мастеров...

Однако архимандриту так и не удалось начать строительство монастыря в Перми. На новом месте сразу же проявился властный, жесткий и даже жестокий характер Иакинфа, очень скоро вызвавший антипатии местных жителей. Когда февральской ночью 1793 года архимандрит Иакинф был убит в Соли-

камском Успенском монастыре, современники отметили, что "в насильственной смерти Иакинфа соликамские рассказчики видят перст Божий, мстящий кровью за кровь".

В архиве Соликамского монастыря долгое время хранилась рукопись "Описание о убитии настоятеля... Иакинфа крестьянами Соликамского округа", в которой во всех подробностях описано это жуткое событие.

Так бесславно закончилась жизнь архимандрита Иакинфа (Кашперова). Человек своего времени, он жил по его законам. Отдельные факты его биографии стали причиной того, что о нем свыше 70-ти лет фактически ни разу не упомянули ни в научных, ни в популярных изданиях. В то же время архимандрит Иакинф вписал свое имя в историю края, а забывать или вычеркивать какие-либо имена и события из прошлого нашей Родины не только вредно, но и порой опасно.

На заметку учителю

Мы непременно вернемся еще к теме "Православная церковь на Урале", ведь исследователям ныне открылось обилие ранее неостребованного материала, и до полноты этой главы в истории духовной культуры Урала еще очень далеко. Забытыми сведениями, интересными фактами тему могут дополнить историки, краеведы да и сами учащиеся — по рассказам родных и семейным преданиям. Пишите нам. Самое интересное найдет место в наших "уроках".

А вопросы к учащимся по теме урока могут быть такими: какие еще монастыри на Урале вы знаете? Назовите важнейшие функции монастыря. Известна ли вам иерархия церковных чинов?

Татьяна СУДОРГИНА

Пушкин — вице-губернатор оренбургский

Заголовок архивного дела привлек внимание: "О службе оренбургского вице-губернатора действительного статского советника Пушкина. (1914—1917 гг)".

Формулярный список пояснил, что сорокачетырехлетнего вице-губернатора звали Лев Анатольевич, что имел он звание "камергера Высочайшего Двора". И вдруг длинный перечень его должностей прервался интригующими строчками: "Министром народного просвещения утвержден почетным блюстителем Б.Болдинского 2-х классного училища имени поэта А. С. Пушкина".

Какое отношение оренбургский вице-губернатор имел к Александру Сергеевичу?

Книга В. М. Русакова "Потомки Пушкина" рассеяла сомнения. Лев Анатольевич Пушкин — внук младшего брата великого поэта — Льва Сергеевича, то-есть внучатый племянник Александра Сергеевича Пушкина.

Архивные материалы о Льве Сергеевиче Пушкине тщательно изучил доктор исторических наук Г. М. Дейч. Он опубликовал формулярный список Льва Пушкина, составленный в конце 40-х или в начале 50-х годов XIX века, когда тот служил в одесской портовой таможне и имел чин надворного советника. В документе сказано, что в 1827 году Лев был определен в Нижегородский драгунский полк юнкером и за отличие в сражении произведен в поручики, потом получил чин поручика. Служил в Финляндском драгунском полку, где произведен в штабс-капитаны. Уволен в 1832-м в чине капитана. На гражданской службе был чиновником особых поручений по Министерству внутренних дел, но опять вернулся на военную службу и служил до 1842 года.

Обнаружены и опубликованы 39 писем Александра Сергеевича к младшему брату. Из переписки из-

вестно, что поэт неоднократно помогал Льву Сергеевичу деньгами и покровительством, старался уберечь от ошибок. Приходилось даже оплачивать его долги.

В дни, когда хоронили Александра Сергеевича, его младший брат был "в походах против неприятеля и в самих сражениях" на Кавказе. О печальных событиях он узнал только в марте 1837 года.

П. А. Вяземский в воспоминаниях пишет: "После смерти брата Лев, сильно огорченный, хотел ехать во Францию и вызвать на роковой поединок барона Геккерна, урожденного Дантес, но приятели отговорили его от этого намерения".

Таким был дед Льва Анатольевича Пушкина. А каков он сам, вице-губернатор оренбургский? Как попал в Оренбург?

После смерти в 1848 году отца поэта Сергея Львовича Пушкина имение в селе Большое Болдино Лукояновского уезда Нижегородской губернии с полутора тысячами крепостных досталось Льву Сергеевичу. Но тот через четыре года скончался в Одессе от "расстройства дыхательных органов". Опекуней над имением до совершеннолетия сына его — Анатолия стала Елизавета Александровна Пушкина (урожденная Загряжская).

20-летний Анатолий Львович переехал из Петербурга в Болдино и вступил в управление имением в 1866 году. Учеба в столице, а затем служба корнетами его сыновей стоила денег. Нужно было выделять долю доходов и дочерям. Постепенно рос долг Нижегородскому дворянскому банку по ежегодным платежам за ссуду, и в 1896 году Болдинское имение было продано с торгов.

Положение спасла удачная женитьба его старшего сына Льва (будущего оренбургского вице-губернатора). Имение купил Николай Приклонский и отдал его в приданое своей воспитаннице Александре Николаевне Добролюбовой, вышедшей замуж за Льва Анатольевича Пушкина. Она была юридическим владельцем имения, а Лев Анатольевич от ее имени управлял им. В эти годы в Болдино были очищены пруды, построен перекидной мостик, оранжерея.

Приближался юбилейный 1899 год, и внимание к местам, где ког-

да-то жил поэт, особенно возросло. Голос общественного мнения звучал примерно так: только в России народными памятниками, которые должны принадлежать всем, владеют отставные гусарские корнеты. Лев Анатольевич; который и был этим корнетом, обиделся и стал хлопотать о продаже болдинской усадьбы государству.

Добиваться пришлось долго. В 1904 году он "дважды обращался в Российскую Академию наук, но получил полный отказ, объясняемый неимением денег, малой площадью усадьбы, которую ни к чему нельзя пристроить и ничего в ней устроить".

Волна крестьянского движения 1905—1906 годов заставила возобновить хлопоты, но на сей раз он получил отказ от Министерства народного просвещения.

В августе 1908-го владелец Болдино вновь обращался в это министерство, мотивируя просьбу тем, что усадьба будет снесена крестьянами, которые на месте барского дома намерены устроить базарную площадь. При этом Л. А. Пушкин сообщил и некоторые конкретные сведения, взятые из местных рассказов и преданий. О том, что "сюжет "Дубровского" был взят в этом месте и до сего времени существуют как потомки героев, так и названия мест... Как передавали старожилы, многие герои из "Повестей Белкина" были взяты в тех же местностях". Впервые он упоминает и о флигеле, "в котором поэт останавливался". Предлагая вместе с усадьбой отдать и рощу (в документах называемую "Лучинники"), Лев Анатольевич писал о ней, как о любимом месте уединения А. С. Пушкина, "где сохранились и те деревья, под коими он любил проводить время", указанные "двумя современниками поэта, бывшими крепостными, из коих один, Михай Сивохин, приводил за поэтом в рощу его верховую лошадь".

Словом, в связи с продажей усадьбы поэта Л. А. Пушкин письменно зафиксировал местные предания.

Дело о продаже сдвинулось только после четвертой просьбы Льва Анатольевича — от 15 мая 1910 года на имя царя. Бумагу переслали Нижегородским властям.

По приказу губернатора создали комиссию "по покупке в казну имения господ Пушкиных при селе Бол-

дине Лукояновского уезда". 24 марта 1911 года принято, наконец, решение совета министров "о приобретении в собственность государства за 30 тысяч рублей принадлежащего дворянам Пушкиным родового имения при селе Болдине Лукояновского уезда Нижегородской губернии мерою около 48 десятин земли с усадьбою, домом, флигелем, в котором жил А. С. Пушкин, портретами поэта и его родных".

А что же наш Лев Анатольевич? Еще в 1907 году он просил себе должность вице-губернатора. Но министерство внутренних дел не поддержало ходатайство. Л. А. Пушкину пришлось вновь уйти в уездные предводители дворянства, но уже не в Лукояновском уезде, а в отдаленном Рогачеве (в Белоруссии).

С 1913 года Лев Анатольевич появляется при дворе в чине камергера и добивается искомой вице-губернаторской должности. Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 5 августа 1914 года его назначают оренбургским вице-губернатором "с оставлением в придворном звании".

В Оренбурге вице-губернатора ждали. 2 сентября "Оренбургская газета" сообщила читателям, что "в воскресенье 31 августа с почтовым поездом прибыл в Оренбург новый вице-губернатор... На вокзале его встречали полицмейстер Лобачевский, некоторые чины губернского правления и другие должностные лица". А один из корреспондентов писал губернскому предводителю дворянства Л. Шотту: "К нам назначен новый вице-губернатор Пушкин, говорят, опытный".

21 сентября 1914 года "Оренбургская газета" писала, что председатель архивной комиссии А. В. Попов "был у нового оренбургского вице-губернатора, который является внушительным племянником знаменитого поэта. Господин вице-губернатор выразил желание передать в архивную комиссию некоторые из бумаг, оставшиеся в его семье еще со времен поэта..."

Трудно сказать, сдержал ли свое обещание Лев Анатольевич, но о том, как он выглядел и какие документы имел, сообщает нам в своих воспоминаниях, знавший его в те годы журналист, редактор газеты "Оренбургская жизнь" С. П. Наумов:

"Это был высокий, уже не молодой мужчина, представительный, отличим которого были большие выхоленные усы, к тому времени почти седые. Он имел у себя и семейные пушкинские сувениры, подтверждавшие его близость к А. С. Пушкину. В частности, у него была тетрадь не совсем удобных для чтения в обществе, интимных и даже порнографических стихов, в том числе и самого Пушкина с его личными приписками и поправками. Это было своего рода эпистолярное наследие Пушкина и оно хранилось в секрете семей Пушкиных, как своего рода святыня, не подлежащая какому-либо разглашению..."

В сложное время прибыл на оренбургскую землю Лев Анатольевич Пушкин — уже шла первая мировая война. С чего же начал новый вице-губернатор?

Внимание привлек приказ по губернскому правлению, изданный им 2 января 1915 года. Л. А. Пушкин обращал внимание на "медленность в исполнении и решении дел, которая превзошла допустимые границы". Его возмущало, что "чиновники, даже младшие, являлись на службу позднее и уходили ранее установленного для присутствия времени", а "начальник отделения подписывает бумаги, не читая их".

В этом же приказе вице-губернатор писал: "Рассматривая произведенные расходы с точки зрения их законности и необходимости, я не могу не признать, что часть их не имела за собой ни законных оснований, ни необходимости. В расходовании, например, канцелярских сумм установлено, что наем нештатных служащих и увеличение им жалованья производились начальниками отделений без ведома вице-губернатора и без всякого соответствия с наличностью кредита. Оставшиеся непокрытыми на значительную сумму счета 1914 года являются печальным результатом подобной неправильной постановки хозяйственной части Губернского правления".

Такие порядки царили в губернии. Но падать духом было некогда. В Оренбуржье прибывали санитарные поезда с воинами, ссыльные военнопленные, беженцы. К концу 1915 года в губернии разместилось более 56 тысяч беженцев, а в лазаретах только города Оренбурга находилось

около 3 тысяч больных и раненых российских солдат. Их нужно было содержать, а средств не хватало.

И в начале января 1915 года "под председательством камергера Высочайшего Двора Л. А. Пушкина состоялось организационное заседание вновь образовавшегося оренбургского славянского благотворительного общества". В правление была выбрана супруга вице-губернатора — А. Н. Пушкина, а он сам стал почетным членом.

Александра Николаевна была надежной опорой в делах мужа. О том свидетельствуют многие документы: "Организованный местным отделением Красного Креста однодневный сбор пожертвований для изготовления подарков для воинов 2 марта 1915 г. дал следующие результаты: из 271 бывших в обращении кружек вынута свыше 5 тысяч рублей. Наибольшая сумма — из кружки А. Н. Пушкиной (330 р.)", или "Устроен спектакль в пользу бедных студентов. Устройство вечера любезно приняла на себя супруга вице-губернатора".

В ноябре 1915 года открылся отдел Всероссийского общества попечения о беженцах русского происхождения. В совете общества — вице-губернатор. За месяц до этого Лев Анатольевич выезжал в Челябинский и Троицкий уезды (они входили тогда в состав губернии) "для обследования положения беженцев". Он присутствовал и на освящении барраков, выстроенных для беженцев польским комитетом.

По инициативе Л. А. Пушкина и под его председательством возникло местное отделение комитета Великой Княжны Татьяны Николаевны для помощи лицам, пострадавшим от военных действий. Считал Лев Анатольевич своим долгом бывать и на заседаниях губернского комитета помощи больным и раненым воинам.

В июне 1915 года оренбургский генерал-губернатор Сухомлинов, назначенный омским губернатором, передал управление губернией Л. А. Пушкину. В то время Россия боролась с пьянством, был введен сухой закон. "Оренбургская газета" сообщила, что по постановлению управляющего губернией "в Белорецком заводе закрыт кинематограф, принадлежащий Белоусову за то, что последний допускал в кинематогра-

фе продажу и распитие денатурированного спирта".

Крестьяне губернии в 1915 году вырастили хороший урожай хлебов и приступили к жатве озимых. Управляющий губернией по телеграфу известил полицмейстера и оренбургского исправника о том, что "все лица, занимающиеся сельским хозяйством и отбывающие наказания по обязательным постановлениям, должны быть освобождены от отбывания этого наказания впредь до окончания полевых работ, после чего должны отбыть остальной срок..."

В Оренбуржье проживало много граждан немецкой национальности, а ведь война шла с коалицией, в которую входила и Германия. И вот летом 1915 года Лев Анатольевич обратился к населению с просьбой "о необходимости осторожно входить в рассмотрение национальности иностранных подданных, воюющих с нами держав при обвинении их в каких-либо поступках или обращениях, вызывающих какие-либо неудобства". В то же время он заявил, что "в случае малейшего нарушения со стороны иностранцев, даже славы, установленного порядка, проявления неуважения к населению России и ее обычаям", им будут приняты самые строгие меры.

Тогда же стараниями оренбургского вице-губернатора учреждено было в губернии общество "Самодетельная Россия", которое ставило целью, как сказано в Уставе, "борьбу против немецкого засилья в областях: торгово-промышленной, экономической, общественной, художественной и научно-учебной, а также содействие укреплению самостоятельности в России. Однако документов о деятельности этой организации пока обнаружить не удалось.

Почти полгода Лев Анатольевич Пушкин управлял губернией. Лишь в ноябре в Оренбург прибыл новый губернатор М. С. Тюлин. Но наступали еще более трудные времена.

Вернувшись в конце января 1916 года из длительной служебной командировки в Санкт-Петербург, Лев Анатольевич вновь исполняет должность губернатора. Под его председательством заседает губернское по земским и городским делам присутствие. Рассматриваются постановления городской думы о займах в 200 тыс. рублей на мясные продукты. В

миллион рублей — на закупку дров и для других нужд. По этим постановлениям "дано благоприятное заключение". Но, видимо, эти займы не решили всех проблем. В газете "Оренбургское слово" читаем: "2 мая 1916 года толпа солдаток стояла у губернаторского подъезда, требуя выхода губернатора. Исполняющий должность главноначальствующего Л. А. Пушкин вышел к толпе, делегатки которой начали жаловаться на то, что город лишил их на летнее время дополнительного пайка, что жить им нечем.

Л. А. Пушкин успокоил солдаток, сказав им речь, в которой пояснил, что город сам не имеет средств. Когда благотворительные средства накопятся, то выдача пайка будет возобновлена.

Солдатки ушли, успокоенные словами главноначальствующего. Однако в тот день были погромы — разграблены магазины".

Стоит отметить, что несмотря на сложность ситуации "по распоряжению главноначальствующего войскам не было дано разрешения прибегать к огнестрельному оружию".

На следующий день по городу было расклеено объявление главноначальствующего о "воспрещении выхода из квартир после 9 часов вечера", рестораны и кинематографы были закрыты. А 4 мая 1916 года Л. А. Пушкин обратился "в Петроград с телеграммой, ходатайствуя о передаче земству 8.000 пудов сахарного песка". В тот же день Лев Анатольевич присутствовал на закрытом заседании городской думы, которая обратилась к населению с воззванием к спокойствию и благоразумию.

Положение с продовольствием осложнялось и с 1 июля 1916 года введена была карточная система на снабжение дровами, сахаром (3 фунта на человека в месяц — 1200 г.), отрубями и мукой. Вышел закон о сокращении потребления мяса и мясных продуктов (мясо продавали только 3 дня в неделю: понедельник, суббота и воскресенье).

В фонде Оренбургского дворянского депутатского собрания случайно встретился документ, соприкоснувший судьбу потомка великого поэта с судьбой будущего атамана Оренбургского казачьего войска — Дутова, одного из лидеров контрреволюции. В ноябре 1916 года вице-

губернатор подписал свидетельство следующего содержания: "Дано Войсковому Старшине Оренбургского казачьего войска Александру Ильичу Дутову для представления в Оренбургское дворянское депутатское собрание, в том, что он поведения безукоризненного, под судом и следствием не был и в настоящее время не состоит и ни в чем предосудительном в политическом отношении не замечен".

Пока не удалось обнаружить каких-либо архивных материалов о последних годах жизни Л. А. Пушкина. Самый поздний документ от 28 марта 1917 года — удостоверение, выданное Министерством внутренних дел следующего содержания: "Дано сие оренбургскому вице-губернатору Льву Анатольевичу Пушкину в том, что со стороны Временного правительства не встречается препятствий к поступлению его в добровольческую организацию по изготовлению транспортного снаряжения для Кавказской Армии".

Что же с ним стало потом? Можно сослаться лишь на воспоминания С. П. Наумова: "1918 год. Я ожидал на станции Кувандык отхода поезда на Оренбург... Кто-то пришел из поселка и рассказал, что... умер Пушкин. Начальником строительства Оренбург-Орской железной дороги был инженер Ледер, живший в Кувандыке. Его супруга Нина Ивановна Ледер была дружна с Пушкиными и вполне возможно, что после революции бывший царский придворный по вполне понятным причинам мог поселиться в семье Ледер, что в действительности и имело место.

Прошло несколько лет, и вдруг я читаю во владивостокских газетах приглашение на панихиду по внуку Пушкина — Льву Анатольевичу... Не знаю, где во Владивостоке похоронен Лев Анатольевич Пушкин. Кто-то говорил, что на Морском кладбище".

Очень бы хотелось удостовериться в истинности этих фактов. Но, к сожалению, кувандыкский райзагс сообщил, что "записи о смерти гражданина Пушкина Л. А. по Кувандыку за 1918 год не имеется". Владивостокские архивисты тоже ничем помочь не смогли.

Владимир ФЕДОРИЦЕВ

Родственник Канта строил Уралмаш

Немецкий мыслитель Иммануил Кант не был женат и не имел детей. В 1804 году его прямая ветвь прервалась. Но были две сестры и брат Иоганн Гейнрих, историю которого восстановила москвичка Ирина Александровна Ульяничева, дальняя родственница философа.

Иоганн, как и его впоследствии знаменитый брат, закончил тот же университет, переехал на жительство в Митаву (ныне город Елгава в Латвии) и был вначале учителем, а позднее стал пастором.

Один из его внуков — Юлиус, будучи торговцем, в 50-х годах XIX века приехал в Москву и женился здесь на девушке немецкой национальности. Их дочь Каролина-Лидия и была прабабушкой Ирины Александровны.

Каролина-Лидия была последней, кто носил знаменитую фамилию. Встретив в Москве аптекаря Фидлера, она вышла за него замуж, взяла его фамилию и уехала с ним в Чухлому Костромской губернии, где тот содержал аптеку. Там и родились все их дети, в том числе и дед екатеринбургского врача Маргариты Валентиновны Гусевой — Владимир Федорович Фидлер.

Его отец — Федор (Фридрих) — в качестве врача участвовал в освободительной войне Болгарии против Османской империи, перенес все тяготы этой войны на знаменитой Шипке. А в 90-х годах прошлого века переехал из Чухломы в Миасский завод на Урале, купив здесь аптеку. В возрасте 44 лет он скоропостижно умер, оставив вдове пятерых детей. Сын его Владимир (в это время ему было 12 лет), учился в Екатеринбургском реальном училище, а потом поступил в Томский технологический институт.

Студентом он женился на дочери православного священника в Миасском заводе — Капитолине Ивановне Аманацкой, с которой еще реали-



стом познакомился на городском балу. Для поддержания семьи ему приходилось работать кочегаром, помощником машиниста, служить на Златоустовском казенном заводе. Институт окончил только в 1911 году, получив две инженерных специальности — электромеханика и по горячей обработке металла.

С 1917-го он управляет Златоустовскими заводами, с 1919-го по 1920-й одновременно исполняет обязанности начальника Златоустовского горного округа. Затем Владимир Федорович — на руководящих постах в ВСНХ и в правлении заводов Южного Урала.

Умение Фидлера налаживать деловые контакты, смело решать технические вопросы позволило Гипромету именно на нем остановить выбор при назначении руководителя на строительство Уральского завода тяжелого машиностроения (УЗТМ). Он был утвержден главным инженером проекта Уралмаша, руководил проектированием и строительством этого гиганта.

Владимир Федорович Фидлер скоропостижно скончался в Москве 23 октября 1932 года после совещания у Орджоникидзе, на котором был утвержден уже главным инженером Уралмашзавода. Коллектив был в глубоком трауре. Газета "За индустриализацию" писала: "Умер Фидлер. Еще вчера он горел и волновался за свой Уралмашстрой, созданию которого отдавал все свои силы, свой бле-

стящий талант и знания. Не стало крупного специалиста..." Урна с прахом Фидлера была установлена в памятнике из черного гранита на площади Первой пятилетки около завода. А 19 декабря 1933 года на заводе случился пожар, и причиной его назвали вредительскую деятельность группы, которой будто бы при жизни руководил В. Ф. Фидлер.

И началось. В 24 часа семью Фидлера вышвырнули из квартиры, которую она построила на собственные средства, вдову лишили персональной пенсии, сына Николая — студента Уральского индустриального института — изгнали из вуза. Дочь Нина, мечтавшая стать врачом, тоже была исключена из института.

Трагично сложилась судьба младшего сына — Алексея. Как немец, хотя он и не знал немецкого языка, Алексей был определен в лагерь, где подорвал свое здоровье. Был в батальоне смертников при прорыве блокады Ленинграда. Чудом остался жив, но с покореженными ногами.

На Уралмаше тогда состоялось собрание. С речью выступил секретарь парткома завода Л. Л. Авербах. Он громил "врагов народа", якобы орудовавших на заводе, Фидлера назвал пособником империалистической разведки, английским шпионом, виновным в пожаре. Часть собравшихся кинулась к проходной завода, где в памятнике покоилась урна с прахом Фидлера. Потом жене сказали, что урна уничтожена. Но прошло несколько лет, и отзывчивые люди вернули ей урну. Прах Владимира Федоровича был похоронен на Михайловском кладбище Свердловска. В 1987 году, когда было объявлено о сносе кладбища, урну пришлось перезахоронить на другом кладбище, в могиле жены. Так получилось, что у Владимира Федоровича и могилы-то своей нет, и памятника ему не поставлено.

В июле 1957 года вдова обратилась в прокуратуру СССР о просьбе разъяснить, в чем состоит вина ее мужа. Лаконичный ответ гласил: "Владимир Фидлер ни в чем не обвинялся".

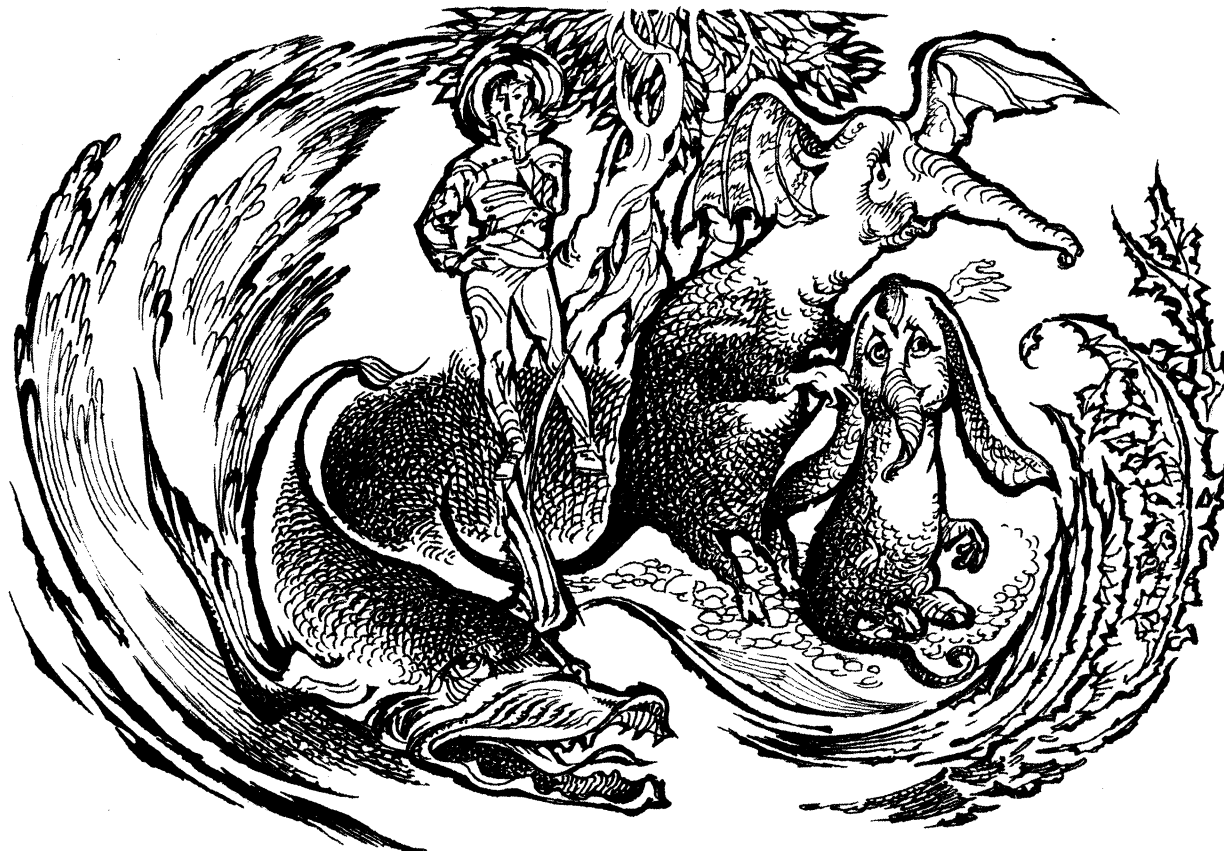
Такая судьба выпала на долю одного из родственников знаменитого философа Иммануила Канта.

г. Миасс

Фото из архива М. В. Гусевой

Закон равновесия

Записки космопроходца



Мы привыкли собираться у меня. Может быть потому, что Клемма, мой домовый кибер, без устали наводит чистоту и уют в квартире. А уют все любят, и теорианский кот, и капитан, и сам Вася. А этот вечер был осенний, с запланированным морозящим дождем, и кот тихонько пел в два голоса, и Вася щурился на пламя камина, и моя умная Клемма приглушила светильники.

— Если говорить об искусстве, то я предпочитаю ваяние, — сказал Вася. — Живописец, он хоть расшибись, а из плоскости выйти не может. Объем передает только скульптура. Вообще, члены нашего экипажа — благодатный материал для скульптора. В Жмеринке на территории школы космопроходцев отличная скульптура Льва, ну, где он бронзовый, десятиметровый и с гитарой.

— Что это ты обо мне говоришь, будто я уже помер, — сказал Лев. — А я, чтоб ты знал, жив!

Нам было ясно, к чему в конце концов Вася сведет разговор, но как-то было лень вмешиваться, пусть, думаем, доскажет. Вася повернулся ко мне:

— И ты тоже хорош, приятно смотреть. В позе Ро-

деновского Мыслителя, в одной руке чья-то голова с обнаженным мозгом, в другой — скальпель, и ты этак задумчиво скальпелем в мозг тычешь. А у левой ноги учебник нейрохирурга-любителя. Мне нравится, хотя фигура несколько статична. Жаль, что цвет и фактуру волос не передает. — Это шпилька в мой адрес.

Ну все, думаем мы, сейчас Вася перейдет к динамике и на том иссякнет. Вася продолжал:

— Будем справедливы. Хоть и не совсем скромно говорить, но самая динамичная из всех виденных мной скульптур — это та, на Теоре. Я там, если помните, стою у ворот в бутсах и футболке со скрещенными на груди руками и отведенной для удара головой.

Васе было чем гордиться: удар головой от своих ворот через все поле увенчался победным голом. Аборигены на Теоре о Васе слагали саги.

— Мы помним, Вася, — ласково сказал капитан. — Мы все помним. И как ты спас нас на Сирене и как достойно вел себя на Эколе. И что, несмотря на спелеологические увлечения, собрал наиболее впечатляющий материал о быте туземцев на Нимзе. Но что касается Афсати, то, конечно...

— А что Афсати? — наш коренастый Вася обиделся. — На Афсати не только меня сбили с толку эти совпадения. Хотя я согласен: то, что для Льва, скажем, простительно, то для меня недопустимо. Но я хотя бы не стал загадкой природы, — он покосился на мою шевелюру. — Было бы негуманно предъявлять к вам такие же требования, какие я предъявляю к самому себе...

Действительно, планета Афсати поначалу не предвещала никаких сюрпризов. Человека здесь мы не обнаружили, а были леса, в которых еще ни разу не раздавался топор дровосека, обремененного большой семьей. Разноцветные леса были густы и вездесущи, и мы были вынуждены устраивать наш лагерь на склоне потухшего вулкана. Рядом, у его подножия, плескалось безбрежное пресное озеро с редкими скалистыми островами. Сверху оно казалось почти круглым. Человеку, ежели он куда-то уходит, надо куда-то вернуться. Для этого и базу вокруг катера мы соорудили. А устроившись, разбрелись кто куда для предварительной разведки окрестностей. Мы полагаем — дня на три. В лагере дежурил на связи я, да подзадержались капитан и Лев Матюшин.

Но уже к полудню Вася затребовал дисколет, и мы полетели за ним. Он ждал нас на берегу озера с искаженным лицом.

— Взгляните, что я наделал!

Зверь лежал снежным холмиком на опушке леса. Его белый мех с муаровыми разводами мог бы радовать глаз на живом звере. Но зверь был мертв.

— Это я его убил. Заряд джефердара был рассчитан на десять минут обездвиживания, и сначала он стоял как положено. Я снял его. Вот голограммы, смотрите, — Вася протянул кассету, рука его дрожала. — Он стоял, стоял... А потом вдруг упал и перестал дышать... Я хочу в лагерь, я хочу понять, почему он умер. Надо проверить все джефердары... Утруповать такого зверя! Я этого себе никогда не прошу!

Мы удрученно молчали. Джефердар был абсолютно безопасен. Это не оружие, это прибор для обездвиживания — одним и тем же зарядом обездвиживается и мышь, и динозавр. Мощность заряда влияет только на продолжительность обездвиживания. Применение джефердара ни в одном случае не имело вредных последствий, а уж летальных тем более. Вы знаете, этические нормы не позволяют землянину убивать... и Вася был в сильнейшем эмоциональном шоке. Законы этики он всосал с молоком матери. Нам стало не по себе. После длинной паузы капитан сказал:

— Зверя мы забираем в лагерь. Ты, Вася, иди на дисколет, мы погрузим без тебя. И не забудь джефердар.

Джефердар торчал в развилке, длинный шнур тянулся от его спускового крючка. Мы перестали смотреть на зверя, мы уставились на Васю.

— Ну да, — Вася одел попытку улыбнуться. — Видите, жив остался. Только рука затекла, я, дернув шнур, не успел ее опустить и целый час стоял с протянутой рукой. Кстати, импульс не лишает сознания... Да. А вот хочешь убежать и не можешь. Жуткое состояние для зверя, которого мы изучать взялись. Не знаю, как вы, а я впредь палить в кого ни попадая поостерегусь.

Вот таков наш Вася. Богатырь не только физиче-

ски. Он и нравственно недостижим. По нему даже равняться не стоит, не получится. А ведь это мысль, хотя и не новая: все проверять на себе. И новое лекарство — зарази себя и вылечи. И правило для судьбы — отсиди пару лет в тюрьме, потом других сажай. Узнай на себе, каково это — драпать на исходе дыхания по степи ночью от машины в свете фар, может, не станешь за сайгаком и зайцем гоняться. Я нейрохирург-любитель и, увы, не могу сам себе сделать трепанацию черепа, а то бы, конечно, не преминал.

Васю и зверя мы доставили в лагерь. Зверь действительно не дышал и был холодный. Мне как биологу пришлось анатомировать его. Природа любит многообразие форм, сравните кошку и пчелу, ничего похожего. Но она, природа, экономна по сути своей и однажды найденное удачное решение использует неслучайное число раз. Я это к тому, что и корова, и хек серебристый имеют кишки, глаза, ливер и мозги, хотя бывают и исключения, недалеко ходить.

Инопланетный зверь имел все, что зверю положено. Жвачное животное, но с одним желудком. Удивило мощное сердце и клыки — как у хищника. Мышцы странно пластичные, тягучие, что ли. Причину смерти я установить не смог. Внутренних кровоизлияний не обнаружил, следовательно, ни инфаркта, ни инсульта у зверя не было. Когда я доложил результаты вскрытия, все задумались.

— Значит, не от испуга? — сказал Лев, почесав затылок, и стал утешать Васю, он его всегда утешает: — А может, этому зверю всего час жизни оставался, может, он с минуты на минуту должен был умереть от старости. А тут ты со своим джефердаром.

— Так что? — спросил капитан. — Зверь инопланетный, а анатомия, значит, земная?

— Не совсем, — сказала я. — Есть и отличия. Вдоль хребта тянется странное образование, мне не ясны его функции, но судя по тому, что оно сплошь пронизано нервами, без него организму не обойтись. И еще. Вся поверхность шкуры покрыта порами. Я было подумал, что это выходы потовых желез, но отказался от этой мысли, не могут потовые каналы иметь диаметр чуть ли не миллиметр. У него, если так можно сказать, ситоподобная шкура на тончайшей сплошной подложке. Правда, под мехом дырки не видны.

— Я ж говорю — от страха, иначе с чего б мелкодырчатая?

Вася усматривал связь между страхом и дырками в шкуре, мы — нет. Мы сильно задумались, но ничего вразумительного придумать не смогли. Наш опыт показывал, что, несмотря на многочисленные общие с земными черты инопланетного зверья, ну там наличие голов, зубов, скелета, хвостов и прочего, всего не перечислить, всегда имелись какие-то особенности. Зачастую они ставили нас в тупик, и мы улетаели, оставляя загадки неразгаданными. Думать, что зверь дышал шкурой, не приходилось, слишком уж могучие легкие были у него. Так чего ж он, голубчик, откинул копыта, с какой причины сыграл в ящик? Эту загадку разгадать мы были обязаны, хотя бы из-за Васи.

Следовало продолжить наблюдения и, по возможности, не пользоваться джефердаром. Во-первых, мы решили построить вольт для не слишком крупных жвачных и, во-вторых, подвесить с десяток летяг. Это такое надувное устройство с моторчиком и аппаратурой. Летяга на небольшой высоте следует за объектом наблюдения, как привязанная, и все записывает,

а кроме того, все, что видит и слышит, транслирует на пульт управления-наблюдения в лагерь. Мы разбрелись в окрестностях лагеря в поисках животных, пригодных для отлова и для наблюдения летягой.

Вася, мрачный, как Мамай на поле Куликовом, ушел, не взяв с собой джефердара. Капитан закрыл глаза на это нарушение, но зато подвесил над ним летягу. За все годы космических скитаний мы не потеряли ни одного человека и не собирались терять...

Каменные отроги гор спускались к озеру, образуя ущелья. Речки-ручьи вытекали из ущелий. По песчаному неглубокому устью такой речки бродил Вася Рамодин, разглядывая животных, собравшихся на водопой. Здесь, на пляже, им было удобней, чем в каменной теснине, где речка бурлила в недоступной глубине ущелья.

Васе приглянулось нечто ушастое и глазастое, ростом Васе по пояс, на тонких ножках, и, вдобавок, с симпатичным детенышем. Не знаю, правильно ли это, но при контактах с инопланетными животными мы в первую очередь руководствовались критериями земной эстетики. Сколько ни твердили себе, что красивое по нашим меркам — это необязательно хорошее на чужой планете, но одолеть Тишкин синдром не могли... Не один Вася положил глаз на симпатичного жвачного ушастика, на него опасно щурился хищник. Той же расцветки, что и ушастики, то есть зеленый в черную полоску — под цвет зарослей, из которых выполз на брюхе. Зверь, нервно скалясь и бия хвостом по песку, уже собрался прыгнуть на детеныша. Но здесь был Вася. Вася трахнул его каменюкой между глаз. Хищник лег на бок, в голове у него все перемешалось, он потерял вкус к жизни и забыл, зачем сюда пришел.

Вася нагнулся над поверженным хищником, давая возможность вмонтированной в скафандр электронике зафиксировать облик зверя крупным планом. Зеленый и полосатый привстал на неверные лапы, помутневшими глазами посмотрел на Васю, вошел в озеро и утопился.

Наш Вася был настолько потрясен, что чуть не рехнулся — это уже вторая смерть на его совести. Он поднял руки вверх и возопил:

— За что караешь, господи!

Летяга делала свое, и на экране виден был дико торчащий волос на Васином темени, его светлые трагически вытарашенные глаза и дрожащие выразительные ноздри. Вася в горести своей вряд ли заметил летягу. А Лев, дежурящий за пультом, содрогнулся от вида и крика его.

Мы забрали с пляжа близкого к нервному срыву Васю. Он что-то мычал всю дорогу и изредка тряс головой.

— Это он на меня обиделся, — пробормотал Вася, выходя из вездехода. — Я нехорошо обошелся с этим зебрером. Нельзя так. Видать, у него очень ранимая психика, тонкая нервная организация.

— Ты это брось! — грубо сказал я. — Нет у него никакой психики. У него одна мысль, кого б задрать на обед. А если ты кого-то ешь, то и сам внутренне готов к тому, что тебя съедят. Не знаю, с какой стати он утопился, но уверен, с тобой это не связано.

— Только не говори мне, что ему подошло время кончать с собой. Это уже было.

Капитан протянул стакан с соком черничного арбу-

за, подождал, пока Вася взглянул на него, и разжал пальцы. Вася взглядом остановил падение стакана, изъял его из воздуха. Капитан улыбнулся:

— Тебя никто не винит, ты вел себя, как надо. Пусть они там едят кого хотят, но не при нас. У тебя не было выбора — или отдать на съедение чужого дитя, или вступить за него, Вася!

В некоторых случаях имя Васи звучало у капитана примерно так же, как последнее слово в предложении: "Ваша кошка проглотила заводную мышь, она больше не будет царапать мебель, сэр".

— Можно было хворостиной отогнать, а я сразу булыжником в переносицу.

— Какой хворостиной, где ты хворостину нашел? У этого, как ты сказал, зебрера шестьдесят зубов, из них восемь клыков с твою ладонь длиной, в нем росту метр двадцать, в нем три метра длины — и это без хвоста! Да он бы тебя в бублик свернул — и без дырочки. Короче, ремонтник Рамодин, без джефердара из лагеря выходить запрещаю. И летягу придется терпеть. Хворостиной... кишка тонка.

Вася всхлипнул и ушел к себе в каюту с тройной звукоизоляцией, откуда не показывался сутки. Лев сказал, что он там переживал в одиночестве, а я так думаю, спал. Иначе он выходил бы к обеду, Вася любил радовать нас своим аппетитом.

Вася ушел, а мы стали раскидывать мозгами. Капитан высказал мнение, что мы уже своим присутствием вносим новый биотический фактор в жизнь животных, с которыми соприкасаемся, и этот фактор может иметь роковое влияние. Я заметил, что устойчивость биоценоза весьма велика и на случайные помехи он практически не реагирует. Капитан на это сказал: но, но, а ежели землетрясение, разве не случайный фактор? Тут капитан смутился и признал, что равнять нашего Васю по силе воздействия с землетрясением не совсем корректно.

— Разве с небольшим, — сказал Лев, выручая капитана.

Третьего дня я пригнал в вольеру округлое животное вроде черепахи, но с мягким пушистым панцирем. Я с ним долго возился, подталкивая сзади в нужную сторону, оно не сопротивлялось, но и не спешило. Белые пятна на красноватой шерсти подсказали название — божья коровка. В конце концов мы с космофизиком, взявшись за края, понесли ее на себе. Эта тварь меланхолично поглядывала на нас, расслабленно свесив лапы с толстыми плоскими ногтями. В вольере мы поставили ее в углу, принесли травы и убедились, что шоковое по сути событие, ну как же, тебя куда-то тащат, толкают в зад, не повлияло на аппетит.

Неплохо чувствовал себя в неволе и бугорчатый арнольд. Он до пупа закопался в почву и очень напоминал поясной намогильный памятник. Питался зверь насекомыми, которые сами во множестве садились ему на сладкие душистые усы.

Нелегко было из множества прыгающих, бегающих, вообще суеющихся вблизи лагеря животных выбрать наиболее уравновешенных по темпераменту и подходящих по габаритам для нашего вольера. Божья коровка, флегматик по натуре, подошла вполне, интересовалась она едой и питьем, а этого было довольно. Бугорчатый арнольд за трое суток с места не сдвинулся и, похоже, благоденствовал. Прижился сумча-

тый твашенька. Только в сумках по бокам носил он не детенышей, а продукты. Ту еду, что мы ему давали, тваша сушил на бугорке и складывал в сумки. В вольере мы соорудили что-то вроде пластиковой ванны, маленького бассейна с низкими бортами, твашенька размачивал в воде ржаные сухари, которые предпочитал всякой другой пище. Был еще мырда-губошлеп, но о нем и сказано-то нечего.

Хищников мы не брали, ибо не хотели строить вторую вольеру. Лень было. А лень — явление настолько естественное и распространенное, что не требует оправданий. Лентяй делает только самое необходимое и ничего лишнего, жизнь его отличается отсутствием суеты. Лентяю присуща внутренняя удовлетворенность, он сознает, что, оставив что-то несделанным, способствует уменьшению энтропии. Он живет в ладу с самим собой. Возьмем, например, кота... Впрочем, я отвлекся. Лентяй живет сам и дает жить другим, не затрудняя их работой. Лентяй всегда ищет и находит пути экономии времени и сил. Идеальный начальник — это ленивый начальник, хотя, конечно, еще лучше начальник отсутствующий. Естественно, к нашему капитану это не относится. Мы принимаем его, когда он здесь и когда отсюда ушел.

Если говорить о красоте, то болонка, конечно, смотрится лучше. У нее нет надглазных роговых щитков, узких ноздрей под ушами, у болонки нет колючек и ее можно гладить в любую сторону, а карчикалоя только вдоль. Болонка субтильна от природы, от карчикалоя субтильностью и не пахнет. Ежели болонка скалится — народу смешно. Если скалится карчикалой, людям становится грустно, а некоторые начинают плакать. У болонки углы сглажены, чего не скажешь о карчикалое. При радикулите чисто выстиранную болонку полезно на ночь прибинтовать к пояснице, а попробуйте прибинтовать карчикалоя.

Зачем, спрашивается, мне понадобились эти идотские противопоставления? Дело в том, что внешность этого зверя неопишима и, говоря о нем, от чего-то надо отталкиваться. Ну, а болонку я здесь присобачил потому, что карчикалой в глубине своей является добрейшей души псом. Привязчивым и нежным. Видели бы вы, как он замирает под ладонью капитана, когда тот поглаживает ему гланды. Предчувствуя наш скорый отлет с Нимзы, карчикалой так убивался и горевал, что мы поняли — разлуку с капитаном он не переживет. И тогда мы всем экипажем собрались тайком от капитана и решили взять карчикалоя с собой. Не объест же он нас! Говяжьего дерева на всех хватит. Самое трудное было спрятать карчикалоя на корабле так, чтобы капитан не обнаружил его до отлета. Зверь не очень, чтобы велик, с тележка, но таил в себе мощь носорога. Помню, капитан был в отлучке с проверкой разведочных групп, а мы обездвигили карчикалоя, предварительно заманив его на трап нашего катера. Потом долго кантовали его по переходам в дальний бокс, в Васину каюту, Васи не было, он пещеры изучал. Позже, когда мы, уже на орбите, пристыковались к кораблю и карчикалой впервые возник в кают-компании, капитан поперхнулся обедом, и мне пришлось долго стучать кулаком по его мосластой спине.

— Недосмотрели, — соврал от имени коллектива Лев. — Как-то просочился, где-то прятался. Чего уж теперь.

Наблюдать за этим зверем одно удовольствие. Спервоначально в экипаже он был главным жрецом, но потом вошел в тело и кушал ну никак не больше Васи, специализируясь, в основном, на холодце из хрящевых сучьев говяжьего дерева. А бараны дрожжи ему не показывай, осерчать может. Такой вот зверь.

Карчикалой нас всех любил, но более всего капитана. Когда капитана не было, карчикалоем пользовался Вася. Он смотрел на него, а карчикалой на Васю, при этом колючки на его загривке приглаживались. Карчикалой сильно переживал, когда капитан уходил без него. Он хотел сопровождать и мечтал в случае чего помочь.

Но мы нашли ему занятие в лагере: присматривать за животными. Капитану достаточно было дважды обойти вольер, и карчикалой все понял, дальше он дежурил сам неотлучно. Страхолюдина, а до чего интеллектуальный зверь. По мне, все звери красивы. Недаром боги не чурались принимать животную внешность. К примеру, Зевс. Европу-то он похитил, находясь в обличье быка. И женщины... скажем, Леда и Лебедь.

Примерно через неделю собрались мы в кают-компании за двумя длинными столами. Назрела необходимость отметить отдельные дни рождения, мы их обычно группируем по три-четыре зараза. Были теплые слова, были подарки. Космофизику, например, вручили бритву, хороший-таки подарок для человека, который с раннего детства ни разу не брился. Лев, аккомпанируя себе на гитаре, спел ряд песен, по поводу чего деликатный Вася сказал, что вполне, вполне, во всяком случае звучит громко.

Когда было достаточно выпито и закусано, капитан попросил тишины и подал на большой экран материалы, собранные летягами.

Наблюдалась картина из Васи, неумело раскрашенного зверя, озера и прибрежных деталей пейзажа. Это статика. А в динамике Вася, находясь под углом в сорок градусов, обеими руками удерживал за хвост упомянутого зверя, желающего, надо полагать, сигануть в озеро. Зверь оглядывался на Васю, не поддоброму скалился и ревел грубым голосом.

— Вот, — говорил Вася. — Держу и не пущу. И не допущу!

Вася у нас ухватистый, хвост был прочен, а зверь могуч. Натужившись, он скользком добуксировал Васю до воды, опустил в нее морду, напился и повернул назад к зарослям. Только тут Вася выпустил чужой хвост. Летяга как-то изловчилась показать Васин фас, и на нем читалось: как же это я так сбунзнул, а? Наморщив чело, Вася рассматривал оставленные им на песке две глубокие борозды.

События на экране между тем развивались совсем невесело. Летяга показала, как с обрыва бросались в озеро никем не пуганные звери. Они ныряли и не выныривали.

— На массовый заплыв непохоже, — сказал остроумный Лев.

Я не стал досматривать остальное, отодвинул столовый прибор и пошел собирать акваланг. Мне не хотелось возиться с баллонами, тащить на заправку, подключать их к компрессору. Я достал из ящика дыхательный блок и убедился, что жаберные цилиндры покрыты пылью еще, наверное, земного происхождения. Пришлось отсасывать пыль. Потом я отнес жаб-

ры в вольере и бросил их в бассейн. Твашенька со своим сухарем оскалится с наружной стороны заграждения. Бугорчатый арнольд снял с уса нечто похожее на большого шмеля и, держа его в лапе возле уха, уставился на меня. Отдыхая душой в этой компании, я думал о предстоящем погружении в озеро. Кто, кроме меня, корабельного биолога, мог разобрататься в ситуации? Я не был сторонником теории группового суицида, хотя примеры тому на Земле известны: самоубийства китов, массовая гибель леммингов в водах тундровых рек. Во-первых, группового не было, звери бросались в воду по одному, и к тому же разновидности звери. Хотя их было в районе озера великое множество, о перенаселении говорить не приходилось. Следовательно, причиной самоубийств была отнюдь не забота о поддержании экологического равновесия. И самое главное, на что пока никто не обратил внимания, в озере не только тонули, в нем еще и купались, и я сам видел, как на берег выходили и обсыхали на пляже многие четвероногие.

Жабры, похоже, заработали — из загубника забулькали крупные пузыри. Я вернулся на катер, переключил на себя одну летагу, взял маску и ласты, вывел на дисплей сообщение, что так, мол, и так, пошел нырять, а в случае чего на Землю мое туловище везти не надо, закопайте здесь, на Афсати.

Пологое дно озера быстро спускалось от берега. Я плыл параллельно ему, раздвигая дрожащие водоросли, разглядывая пестрых моллюсков, рыб непривычных форм и резвящихся стремительных ластоногих. Я неспешно погружался, ожидая увидеть чуть ли не кладбище непогребенных зверей, уж во всяком случае — обглоданные обитателями озера кости. Но скелетов не было, вообще не было ничего такого, что вызывало бы нервный озноб, только белый туман клубился у самого дна.

В тумане бродили разные звери, иногда выглядывая поверх белой пелены. И непохоже было, что им нечем дышать или что их беспокоит отсутствие атмосферы.

Ничтоже сумняшеся я нырнул в этот туман: опрометчивый поступок. Но разве я мог предполагать, что это отразится на мне самым неожиданным образом, вплоть до искажения внешности. Тени зверей то резко очерчивались, по мере приближения, то расплывались в тумане, теряя очертания. Я подплывал вплотную, заглядывая в звериные глаза, трогал носы и усы. Никакой реакции, меня не замечали. Я провел рукой по чьему-то ребристому боку. Зверь не повернул головы, то ли тот самый зверь, которого Вася держал за хвост, то ли на него похожий. Я лег на дно, но кроме неразличимых сверху мелких зверушек, почти плавающих в тумане, ничего не обнаружил. Я порадовался за Васю. Выясним мы тут, в чем, собственно, дело, или нет, главное, что звери живы, просто они перешли в другую среду обитания. Для них, видимо, не менее естественную, чем суша.

Что-то мне стало трудно дышать. Действительно, жаберные щели осветились красным — признак загрязнения. Поднявшись выше, в светлые воды, я увидел, как из тумана в сторону берега выходили большие и маленькие животные, медленно одолевая подъем. Я всплыл и заметил в стороне овальный баллон летаги, оба ее глаза растерянно вращались. Потом я попал в поле ее зрения, и летага зависла надо мной. Рядом показался из воды некто рогатый и зубастый, явно хищник, он со свистом втянул воздух и

засопел, как Пенелопа, в пятый раз распускающая безобразно связанный ковер. Меня передернуло, и летага наверняка зафиксировала мой зряшный неоправданный испуг. Выходя на берег, я услышал тревожный, похожий на колокольный звон крик карчика-лоя и, едва стянув амуницию, кинулся к лагерю, обегая почему-то встречных хищников, хотя раньше всегда двигался по прямой и они уступали мне дорогу.

Карчикалой метался вокруг ограждения, а в бассейне недвижим лежал твашенька. Раздумывать было некогда, я вытащил твашеньку, он не дышал, перекинул его через плечо и опять бегом к озеру. Может быть, жизнь здесь подчиняется неким циклическим законам — месяц здесь, месяц там? Может, я еще успею! Карчикалой бежал впереди, разгоняя по пути зверье. От него шарахались, только пятки и хвосты мелькали.

Я не мог бросить твашеньку вблизи берега, надо было доплыть до зоны белого тумана, а это метрах в пятидесяти, и затопить его там. Я плыл спиной вперед, буксируя зверя за собой, а он тяжеленький — я только потом вспомнил, что обе сумки у него были полны продуктов — и никак мне не помогало, вроде совсем неживой. Когда я выбрался обратно на берег, у меня разболелся седалищный нерв, захотелось лечь на канapé и принять сеанс иглотерапии в район поясницы с выходом на копчик. Но меня гнало беспокойство за оставшихся в вольере зверей.

С трудом взобравшись по трапу, я возник в дверях кают-компании. Сначала на меня не обратили внимания; все, одобрительно гудя, смотрели на громадный поднос, на котором покоились две жареные индейки. Поднос без натуги держал наш повар и ждал похвалы. Сквозь восторги прорезался голос космофизика:

— Ноги именинникам!

— Ну, молодец, Ламель! — сказал капитан. — Ну, мастер!

— А пупки Васе! — закричал Лев. — Оба!

Хромованная физиономия Ламеля сияла, он качивался с пяток на носки, демонстрируя великолепную работу вестибулярного блока. Железный, а любит, чтобы хвалили, чего тогда от Васи требовать. Объективно говоря, повар — молодец, но меня от вида индейки вдруг замутило. Подумалось: и чего это они все едят и едят и, в основном, мясное, хотя в оранжерее и ягод, и фруктов, и овощей не в прожор! Зря, что ли, впечатленцы суетятся!

И вдруг настала тишина. Все воззрились на меня. Лев прожевал лангет и надрывно спросил:

— Ты зачем это сделал?

— Он не нарочно, — после паузы сказал капитан.

— А я раньше думал, что хуже уже не будет! — сказал Вася.

— О чем это вы? Вы что, рехнулись! Там твашенька чуть в бассейне не утоп, я его в озеро пустил. Надо всех отпустить... Что-то меня мутит... Пойду в лабораторию, лягу. Туману наглотался. В озере жабры не применять...

Я отклонил протянутые руки, сам дошел до лаборатории, сам взял из вены кровь, поставил пробирку в анализатор, вложил в гнездо емкость с туманной водой, включил автомат на синтез вакцины и стал умываться. Словно во сне, я видел, что из зеркала на меня смотрит странный тип без шевелюры, бровей и ресниц. Я тоже посмотрел на него без интереса и, не помню как, лег на кушетку и отключился. Последняя

мысль была: а череп у него отличной формы. Естественная реакция нейрохирурга-любителя.

Много дней провалился я в постели в полудремотном-полубессознательном состоянии. Иногда просматривались знакомые озабоченные лица, кто-то переворачивал меня, кто-то колот в ягодицу. И голоса, обрывки фраз:

- ...Соки ничего, а как бульон — сразу блюет.
- ...Это ж натурально какой-то коктейль из ферментов и гормонов. Тут и памятник облысеет...
- ...Заправь капельницу... Принеси судно...
- ...Заметил? В ушах уже растет!
- ...Сколько раз повторять: смазывай наконечник!

Не знаю, о чем в других местах говорят грубые мужики, выхаживающие своего приболевшего товарища, мои говорили так, и я не хочу из песни слова выбрасывать. Скажу: для меня они элегию Маснэ не исполнили. За что я им признателен.

И хороший уход, и вакцина плохо излечивали мой отравленный организм, но я, когда не спал, мог уже свясно рассуждать. Мозгом. И явилась мысль — в этом белом тумане с животными что-то происходило — очень оригинальная мысль! Они зачем-то там околачивались, дыша через мелкодырчатую шкуру с подложкой мембранного типа. Вроде как я дышал с помощью жаберного аппарата. Ну, а зачем? Им что, на суше хуже? И шерсть терялась. На мне-то вся вылезла. Правда, сейчас, если верить зеркалу, на голове вроде заколосился какой-то цыплячий пух. Но это ж не то! Была, ох, была брюнетная шевелюра. И даже без зальсин. Где она? И, что удивительно, не могу смотреть на мясное. И вообще, вот сейчас дождю яблоко — и спать...

Эта нудьга тянулась бы до сих пор, когда б не капитан. Презрев медицинские каноны, он напоил меня горячей малиной и хотел влить стакан водки. Смешно, влить силком. Я сдержанно улыбнулся — я всегда сдержанно улыбаюсь — и выпил без принуждения и кряка. Результат: ночью я дико потел, а на следующий день Лев, чеша тот самый затылок, который я ему заштопал на Эколе, и сказав: "Ты смотри, а ведь оклемался!" — вывел меня наружу. Голова кружилась, и я присел на трапе. Вольеру уже убрали, карчикалой бегал внутри защитного купола, чутко улавливая его невидимую границу. Он укориленно позванивал, ибо капитан улетел по делам, а его, сердешного, не взял. Я непроизвольно вздрагивал всякий раз, когда этот зверь пробегал мимо. Хотелось уйти к себе, хотелось в оранжерею, где мирные, ничего не едящие впечатленцы, где кроткие пчелы и красивые птички, собранные на разных планетах и спевшиеся в единый хор.

- Ты чего это? — спросил недоумевающий Лев.
- Так ведь он хищный. Наверное, кусается!
- Тебе-то что?
- Ну как же.
- А ведь действительно, — протянул Лев, разглядывая меня.

Такой содержательный разговор.

— И вообще, вот сейчас дождю яблоко — и спать...

Проснулся, смотрю, по одиночке приходят ко мне члены экипажа, говорят всякую ерунду, заглядывают в глаза. В общем, тревожатся. А чего? Я уже начал входить в силу, уже бегал на тренажере с тяжело набитым рюкзаком за плечами, число подтягиваний на

перекладине довел до привычных двадцати, а приседаний — до ста. Сам собой доволен был.

Капитан не разделял моего оптимизма. Раным-рано он входил, держа в одной руке инъектор, а в другой приятно пахнущую ватку.

— Может, хватит? — сказал я как-то. — У меня уже задница перекосилась, показать стыдно.

— Не о том забота. Поразмысли, почему шашлыка не ешь? Я не видел человека, чтоб шашлык не хотел.

— Организм не принимает.

— Вот то-то и оно. Нам вегетарианца в экипаже не хватало!

— Я только об этом и думаю. Но мало информации, я там на дне всего-то десяток минут пробыл.

Вася нашел меня в оранжерее. Подковкой расположились впечатленцы, а в центре рос куст невероятной красоты, усыпанный розами всех мыслимых цветов от снежно-белого до непроницаемо-черного. На катере оранжерея была в десятки раз меньше, чем на маточном корабле, оставленном на орбите, но впечатленцы умели использовать каждый квадратный сантиметр площади и нашли место для роз. И вот они собрались всем своим коллективом, чтобы насытить взор видом красоты, ибо живут впечатленцы созерцанием совершенного. А что может быть совершеннее розы?

— Икебана! — шепотом воскликнул Вася, присаживаясь рядом.

Мы долго молчали. Иногда кто-нибудь из впечатленцев протягивал к кусту поливочную лапу, и было видно, как сжимались до точек дырочки на ладошке, и цветок окутывало маленькое облачко тумана. Эти создания — назвать их животными, ну, никак невозможно — абсолютно точно улавливают должное мгновение полива и необходимую дозу. Впечатленец телепатически настроен на растение, полагаю, что и трухлявый пень зазеленеет под его взглядом. Мне было хорошо в оранжерее, но из-за Васи я вынужден был вернуться в каюту.

— Конечно, вакцина восстанавливает волосы, — осторожно сказал Вася, не желая меня травмировать. — Но ты должен согласиться, что не токмо внешность, но и личность твоя изменилась.

— Моя?

— Твоя. И не в лучшую сторону. Раньше ты был весел и алертен, в каждую дырку затычкой лез. Мы к тебе такому привыкли, что было не легко. А сейчас в тебе появилась злонамеренная кротость, и мы встревожены. И как ты в таком состоянии рассказы обо мне писать будешь, ума не приложу. В тебе есть что-то жвачное. Тут пасха на носу, будет большой кус-кус, что ж, для тебя отдельно готовить? Это, конечно, следствие того, что ты через жаберный аппарат дынул той туманной мути. Но я полагаю, что она не только на шерсть действует, а?

Назвать эту догадку гениальной не могу, но для Васи уже прогресс. Вася силен не этим. Он силен своими душевными качествами, своей непосредственностью и телепатическими способностями. Однако суть не в этой очевидности. Природа ничего зря не делает, и если у меня вылезли волосы, если появились травоядные устремления, то для этого должна быть глубинная причина, пока нами не постигнутый смысл. Кстати, о волосах — они восстановились. Я бы даже сказал, с избытком, ибо, будучи брюнетом от

рождения, я сменил масть. Вырос новый волос, не желтый, не рыжий, не коричневый, а цвета шерсти эрдель-терьера и той же густоты. Но не это ставит всех в тупик. Забегая вперед, скажу, что, когда мы вернулись на Землю, у меня стали рождаться внуки с такой же собачьей шерстью. Поскольку никто из моих детей, их жен и мужей отродясь в космосе не бывал, возник вопрос: с чего бы это? При попытках найти ответ не у одного десятка земных ученых поехала крыша. А я привык, зато зимой хожу без шапки, подшерсток греет. Одно неудобство: как весна, так лянью, приходится выщипывать волос.

Через пару дней я, преодолев с помощью карчика-ля и Васи ощущение страха от вида планирующих неподалеку хищников, добрался до озера и ушел под воду. На мне был костюм с полной гидроизоляцией, двухбаллонный акваланг и маска без загубника: мы сделали все, чтобы меня больше не коснулся донный туман.

Я улавливал сигналы от божьей коровки, которую мы снабдили маячком еще на берегу, когда она только собиралась нырять. Объект очень удобный для наблюдения из-за малой подвижности.

Эта животинка висела в полуметре от дна и ничем не интересовалась, воплощенная флегма. Я похлопал ее по спине и разместил на якорях фиксирующую аппаратуру. Теперь она окружена телекамерами, и все, что с нею случится, мы будем знать. На всякий случай я побыл с полчаса рядом, убедился, что охоты к перемене мест божья коровка не проявляет, соседи, мирно плавающие в тумане, нелюбопытны, каждый вроде как углублен в собственные переживания.

Я всплыл, залез на плотик и прилег отдохнуть. На берегу суеутился карчика-ля, и я лишний раз подивился несоответствию его внешнего облика и внутренней сути. Положив подбородок на колени, о чем-то размышлял Вася. Ничего, подумал я, это ему полезно, размышлять. Летяга снизилась надо мной, один ее глаз был неестественно свернут в сторону, я оглянулся: два поплавка с камерами, сорванные с якорей, плавали неподалеку.

Пришлось снова натягивать маску и нырять. Божьей коровки на месте не оказалось, слабый писк маячка доносился откуда-то издалека, оставшиеся камеры смотрели на пустое место. Ладно. Я отцепил их от якорей, пусть всплывают, включил водометный движок, размещенный на спине между баллонами, настроил автопилот на поиск маячка и двинулся в сторону писка.

Это меня чуть не угробило, ибо не успел я промчаться и километра, радуясь усилению сигнала, как меня дернуло, перевернуло и поволокло зигзагами то вверх, то вниз, то в стороны. Ну да, я же на автопилоте, а этот всеу названный божьей коровкой лихой зверь непрерывно менял курс, и я метался за ним, как привязанный, ибо автомату одна забота — держать зуммер на усиливающемся звуковом уровне. Но какова пруть! Это продолжалось довольно долго, но нет такого живого сердца, чтобы выдержало гонку с железным мотором: я догнал зверя.

...Ничего похожего на божью коровку: крытый мехом удлинненный эллипсоид с лапами и усатой мордой. Ни дать ни взять земной тюлень. А на продырявленном ухе болтается серьга — тот самый маячок, который я самолично прицепил на ухо божьей коровке,

когда она с присущей ей неспешностью двигалась по песку к воде. Нужно ли обладать изощренной проникаемостью нашего капитана или разухабистым интеллектом Льва Матюшина, чтобы понять происходящее? Не нужно. Вывод очевиден: в этом тумане, в бульоне из ферментов, гормонов, бесхозных хромосом, вирусов, фагов, осколков органических кислот и, конечно, неизвестных нам мощных катализаторов органических реакций, с животными происходят удивительные метаморфозы. Вообще говоря, ничего нового. На Земле это рутинное явление — гусеница превращается в куколку, куколка в бабочку... На Афсати, надо полагать, метаморфозам подвержены не только насекомые, но и другие формы жизни...

Я размышлял, лежа на поверхности озера, а рядом шумно дышало, не могло отдышаться то, что было опрометчиво названо божьей коровкой. Неподалеку на воде образовался бугор, и из него вылетела здоровенная мокрая птица с голой шеей, тяжелым клювом и жуткими когтями. Она, явно не водоплавающая, зависла надо мной, уставилась орлиным взором. Стервятник! Но я-то здесь при чем? А вдруг укусит или даже клюнет — меня, беззащитного... Хищный такой!

Я тихо ушел под воду, собрал за свисающие тросики камеры и потащил их к берегу.

Свои планерки мы традиционно совмещаем с ужином. Очень хорошо подводить итоги дня за гречневой кашей со шкварками, а намечать дела на день грядущий за фруктовым десертом. Десерт — это когда в прозрачную вазочку кладутся дольки мандаринов, кусочки абрикосов и груш и все заливается полусладким шампанским или, на худой конец, яблочным сидром. Потреблять надо, уже будучи сытым.

Ламель еще не закончил сервировку стола, как Вася сказал, ни к кому не обращаясь:

— Пусть мне кто-нибудь объяснит. Я как поем, сразу тяжелею. Раньше этого не было.

— Когда раньше?

— Ну, лет сто назад.

— Вася! Тогда ты был на сто лет моложе. И твой растущий организм утилизировал все, что ты в него вводил.

— Так что ж, мне теперь меньше есть? — Вася хмуро задумался. — Нет, я на это не пойду! Appetit на то и дан, чтобы его удовлетворять. — И он принялся за черепаховый суп. Лично я эту баланду терпеть не могу.

Еда беседе не помеха, а вот зрелища отвлекают. Особенно такое, где божья коровка, очнувшись от долгой неподвижности, стала, теряя шерсть, сворачивать свой панцирь, на глазах превращаясь в нечто похожее на выпрямленный банан. Дикое зрелище. Плоские ногтевые пластины на лапах отпадали — и уже у нее не ноги, а длинные упругие ласты. Еще с другого конца превращение не завершилось, а это кроткое травоядное ощерило зубастую пасть и, не теряя времени, хапнуло проплывающую мимо рыбку. А ведь в виварии даже бугорчатый арнольд по сравнению с божьей коровкой казался лютым хищником. Вот когда раскрылся зверский характер этой скотины: едва оформившись, коровка поглощала все, что плавало самостоятельно, — и рыб, и голых моллюсков, и полупрозрачных ракообразных. Никем не гнушалась. И все эти злодеяния совершала, практически не тро-

гаясь с места, в окружении телекамер. Потом эта божья напасть дернулась всем телом, взбрыкнула и исчезла, подняв со дна непроницаемую муть. Что она там делала на чистой воде, можно только предполагать. А ела б водоросли, слова бы не сказал в осуждение.

...Капитан выключил дисплей, оглядел нас, жующих.

Космофизик почесал свою стреляющую искрами бороду:

— Морж, к примеру, практически живет в воде, а вот размножается на суше. Аналогия.

— Про моржа это ты хорошо сказал, — сказал Вася. — К месту.

Остальные сотрапезники промышали что-то невразумительное, и капитан вынужден был подвести итоги дискуссии.

— Ну-с! Мы уже здесь чуть не сто дней, а все не у шубы рукав. Смотрите! — На дисплее возникла таблица. — Это обработка наблюдений, выполненных летьягами. Сколько животных в фиксированный период вошло в озеро, столько и вышло из него. Теперь по группам: число жвачных входящих равно числу хищников выходящих. Какой отсюда вывод? Не делайте задумчивых лиц — отсюда никакого вывода не следует, кроме одного: они не тонут, они все остаются живыми. Но зачем тогда это Афсати?

Капитан одушевлял планету. Мы тоже. Афсати, как и Земля, как и другие населенные планеты, заботилась о детях своих, давая им все нужное для жизни и подчиняя их своим законам, следуя которым равно благоденствуют все живущие и нарушение которых приводит к трагедиям. Здесь не было человека и, следовательно, некому было нарушать великий вселенский закон жизни: живи и не мешай жить другим. Осторожное отношение любой планеты к жизни проявляется, в частности, и в отсутствии революционных преобразований. Все происходящие изменения — результат эволюции, бережной и для обитателей незаметной. Но как говорит капитан: зачем это Афсати?

Так рассуждал я, ковываясь в своем вегетарианском винегрете. Проницательный читатель уже, видимо, понял суть дела, тем более, что здесь я даю концентрат относящегося к данному вопросу. Но мы пока не понимали, ведь наша жизнь состояла из великого множества больших и мелких событий. В экипаже каждый был занят своим делом и мало интересовался делами чужими. Планетолог, например, и его верный кибер бурили планету в разных местах, изучая недра. Мне до сих пор кажется, лиши его возможности что-либо бурить — он завянет, как забывудка. Космофизика интересовало магнитное поле Афсати и, как он говорил, места, где пересекаются планетные параллели с меридианами: там пучности всех видов излучений. Интересно ему было и отсутствие слоя Хевисайда, что вынудило нас с целью обеспечения связи подвесить над планетой восемь трансляционных суточных спутников. Астроном составлял графики возмущений в движении трех лун Афсати и тем был счастлив. Океанолог ушел в синее море, одно из десяти, украшающих лицо Афсати. Появлялся на базе раз в три дня, озабоченный и пахнущий свежестью. Ну, я биолог, корабельный врач, и этим все сказано.

В науке тысячи специализаций, но всякий экипаж численно ограничен, и потому мы совмещаем специальность, и потому же среди астронавтов всегда вынужденно ценилась не столь глубина, сколь широта

знаний, — кроме, естественно, своего предмета. Результаты наблюдений поступали в разных видах на предварительную обработку к Леве Матюшину — корабельному статистику. А уже потом в земных институтах над ними ~~традились~~ те, кто, собственно, и делал открытия, обобщая добытые нами материалы.

Вася у нас ремонтник, механик широкого профиля, то есть иногда заменяет изношенную деталь на новую, и делом не измучен. Потому помогает мне: общение с животными его радует. Их с ним тоже. Свою доброту Вася оттачивает именно на животных, а уж затем распространяет на нас.

... — Да, конечно, метаморфозы, — продолжал капитан. — Меченный Васей зебрер вылез из озера в облике ушастика. Сменил ампулу: был хищником, стал травоядным. А? Каково?

— Согласен, — добавил Вася, — дело не в обличье, а токмо в том, кто что ест. Хотя, с другой стороны, жвачность требует и внешнего оформления. Кто в тигровом обличье полезет на газон центрального парка резеду кушать? С ума сойти.

Вася нет-нет да и скажет что-нибудь такое-этакое. В еде он дока. А что, если это так и есть: обличье — вторичный фактор, а главное — кто чем питается... Но зачем это Афсати? Вот я был всеядным с мясным уклоном, а сейчас в пасху, когда у нормальных людей большая еда, я жую салатики, харчусь, как какой-нибудь длинноухий кролик, хотя шерсть на мне почти собачья...

— А сколько летьяг у нас на складе? — неожиданно для себя спросил я. Капитан посмотрел на Васю.

— Десяток в работе. Каждая закреплена за каким-либо одним зверем, следит, пока тот не утопнет в озере, после чего прикрепляется к другому объекту. На складе еще штук двадцать наберем.

— А в чем дело? — спросил капитан. — Может, мысль появилась, а?

— Так, — ответил я. — Мыслишка. Стоит просканировать площадь и сосчитать всех зверей. И по отдаленности — хищников и травоядных.

— Ежели учитывать и в лесах, то только в инфракрасном диапазоне, а в нем кто хищник, кто наоборот — понять невозможно. Будем на открытых местах по видам, а в зарослях всех чохом. Хотя я не знаю, зачем это надо. — Вася опять впал в задумчивость, что у него было одним из признаков насыщения.

— Если что учитывать — то это моя стезя! — На выразительном удлинённом лице Льва Матюшина читалась готовность статистически обработать предстоящие результаты наблюдений.

— Вот и ладненько, завтра с утра запустим остальных летьяг. Пусть считают.

— Да, и итоги на каждые сутки. По видам...

Летьяги ежесуточно питали Льва данными наблюдений. Лев обобщал. Получалось, что за неделю количество жвачных, выходящих из озера, не изменилось, как и число хищников, ныряющих в озеро.

— Но общее поголовье, фиксируемое в лесах, — докладывал Лев, — имеет слабо выраженную тенденцию к снижению. Экстраполируя, придем к выводу, что лет через десять зверей на Афсати не останется.

— Ну, сколько там леса мы сканируем, сто квадратных километров. Разве можно за всю планету говорить.

— Я понимаю, но факты... — Чувствовалось, Льву



чем-то близка мысль о предстоящем обеззверивании планеты.

Прошла еще неделя. В кают-компании все мощно ели после трудового дня, а я робко закусывал компот бутербродом с говядиной и чувствовал, что это начинает мне нравиться. Мне даже захотелось погладить карчикалоя, но я воздерживался, вдруг уколуюсь. Все, конечно, улавливали слабые признаки моего выздоровления, но вида никто не подавал. Душевная деликатность в высшей мере присуща членам нашего экипажа, капитан за этим строго следит.

Интересно, что пока я не стал вегетарианцем, то ходил вне лагеря свободно, никого не боялся, и все мне уступали дорогу. А теперь, я заметил, даже мелкие всеядные на меня зубы скалили. И стервятник, постоянно висающий над базой, пару раз пикировал на меня, гад. Не в том смысле гад, что на пузе ползает, а в смысле намерений. Пикировал — свистя, выпучив глаза и выставив когти. И хотя он промахивался, но из лагеря я выходил только в сопровождении карчикалоя. Он небрежно позванивал, не то чтобы охранял меня, достаточно было его присутствия...

Впрочем, один раз на меня кинулся было зебрер саблеусый Рамодина (так по энциклопедии) и нарвался на карчикалоя. Было на что посмотреть, мы потом много раз прокручивали эту запись, сделанную летягой. Карчикалой гонял зебрера, как сидорову козу, по ближним холмам и перелескам, трепал его за шиворот и филей и вернулся, геройски держа в зубах зеленый откушенный хвост в поперечную черную полоску. После такой взбучки у зебрера от нервного и физического потрясения сдвинулся генетический аппарат. Мне говорят — не может такого быть, чтобы хро-

мосомы перепутались. Я и сам знаю, но чем иначе объяснить появление популяции бесхвостых зебрер, которую обнаружили последующие экспедиции?

Лев доел вырезку, отложил серебряную вилку.

— Я тут подсчитал, капитан, картина та же. Сколько в озеро хищных вошло, столько травоядных вышло. А общее поголовье продолжает уменьшаться. Выводы делайте сами.

— А я, — сказал океанолог, — обнаружил в море недалеко от берега зону тумана. Очень похожа на нашу озерную. И животные там обитают. Думаю, такие зоны по всей планете разбросаны.

— Это можно было предвидеть. А выводы делать рано, продолжим наблюдения. — Харизма нашего капитана столь высока, что мы даже не обсуждали его распоряжения. — Получается, что в лесах хищники поедают травоядных с такой скоростью, что численность последних не успевает восстанавливаться. Вот о чем надо думать.

Утром я услышал, как карчикалой процокал когтями до моей каюты и зазвонил у двери. Зверь уже научился открывать створчатые двери, но у меня дверь откатывалась в стену, и это ставило его в тупик. Я вышел навстречу уже одетый, и мы пошли на привычную прогулку. Карчикалой остался на трапе, наблюдая за мной. А я уже научился преодолевать робость, я уже с помощью палки внушил стервятнику уважение к себе, а мелких хищников практически не замечал. Крупные же после скандального происшествия с зебрером вблизи базы не появлялись. Могу утверждать, что на хищников, кои ведут себя нагло, палка действует умиротворяюще. Понимаю, что данное обобщение не украшает меня...

Странное это состояние: все заняты делом, а я, видишь ли, гуляю налегке и, может, зря отвлекаю карчикалоя на охрану своей персоны. Он, может, с большим удовольствием сопровождал бы Васю, который каждый день уходил в лес, пытаясь самостоятельно разрешить загадку уменьшения численности животных. Если принять точку зрения Льва, то все бегающее уже давно должно было вымереть. Но ведь не вымирает. Даже наоборот, жизнь на Афсати процветает. Вон на чистом — после недавнего ливня — пляже выплясывают чьи-то носатые малыши, или, может, то взрослые звери? Чтобы хоть немного разобраться в животном мире планеты, нужны большие коллективы специалистов и годы работы. А мы что можем: прибыл, увидел, улетел. Все с поверхности, все скользом.

...Лев не дождался вечера. Он выбежал ко мне, и длинная бумажная лента волочилась за ним по траве.

— Сравни, — он тыкал пальцем в график. — Общее поголовье зверей за эту неделю не изменилось, а? Значит, я был неправ, численность стабилизировалась!

Лев радовался своей ошибке с непосредственностью пуделя, встретившего хозяина. Я мог бы здесь порассуждать о порядочности, изначально присущей всем членам экипажа, но я не стану. Вот и Лев — хороший человек, хотя и не без отдельных недостатков, что там говорить. Он был доволен, что Афсати не грозит остаться в одиночестве.

Через несколько дней нашего непосредственного Льва стала снова грызть тревога: Афсати теперь угрожало перенаселение и исчезновение растительности. Численность травоядных стала возрастать, а хищников продолжала уменьшаться, они прежними темпами сигали в озеро и через малое время выходили оттуда преобразенными кроткими вегетарианцами.

Открытие назревало, оно уже наполнялось фактами, как младенец криком. Лев давно мог бы сформулировать суть дела, но еще чего-то ждал, перепроверял, очень он у нас добросовестный. Но день настал, точнее — вечер. Ламель любовался, как я отъедаюсь пловом, а Лев был в праздничных брюках и белой рубашке с запонками. Он, правда, не надел фрака, но только потому, что фраков на корабле не было. Бледный, со взором горящим, Лев вывел на дисплей некую пологую синусоиду и торжественно сказал:

— Собратья! — Мы все вздрогнули, а капитан постукал ложечкой по чашечке:

— Лев имеет что-то сказать. Но если мы будем жевать, он обидится...

Лев заговорил, и нам стало не до еды, ибо пища духовная для нас важнее телесной, у сытого человека всегда так. Лев сообщил, что долго воздерживался, но уже можно. Эволюция на Афсати, говорил Лев, ни одному виду не отдала предпочтения. Это вам не Земля, допускающая засилье то динозавров, то человеков. Здесь за миллионы лет установилось некое равновесие трех стихий жизни: растительности, травоядных и хищников. Эволюция — этот разум Вселенной — нашла и способ поддержания равновесия.

— Если фитомир терпит чрезмерный ущерб, а

хищники не справляются с ролью регулятора, включается некий механизм, назовите его инстинктом, и гонит в озеро жвачных и грызунов. Выбора нет: переродиться или умереть! И жвачный обретает клыки и плотоядность. Пошатнувшееся равновесие, — Лев провел пальцем по пику синусоиды, — восстанавливается. Но тут вступает в силу фактор инерционности процесса, и мы наблюдаем падение численности жвачных, обусловленное ростом поголовья хищников, в основном за счет метаморфоз. Пройдет немного времени — и теперь хищник полезет в озеро, как это сделал зебрер Рамодина.

Тут Лев остановился, чтобы передохнуть, и закончил:

— Цикл правит жизнью!

Осень, время не менее прекрасное, чем весна, кончилась. И закончилась моя работа над этими записками. Приглашенные для обсуждения долго пили коньяк, поданный Клеммой, и закусывали мандаринами. Был случай, когда, увлекшись воспоминаниями, мы совсем забыли про Клемму, и от огорчения у нее задымились подмышки. Поэтому первый тост подняли за здоровье экипажа — чтоб он был еще здоровей — и за Клемму, чтобы не было у нее короткого замыкания! Подняли и больше к этому не возвращались. Потом мы пили за тех, кто в космосе, потом за зверей, отдельно каждой из известных нам планет — Земли, Цедны, Нимзы, Афсати... Пили за птичек Сирены, а за пуджиков не пили. Далее космофизик произнес, наливая по полной:

— Чего мелочиться! Выпьем за всех зверей Вселенной, чтоб им хорошо было.

Мы поддержали этот редчайший тост, а потом Лев, разглядывая порожний сосуд, почесал затылок и сказал:

— Если говорить о рассказе, то важнейшие события отобраны верно, изображены выгукло. Но у тебя все это как-то несерьезно, с каким-то легкомысленным оттенком...

— Именно, именно, — вмешался Вася. — Неужто я действительно выглядел так, что Лев содрогнулся. Ты содрогался, Лева? И почему это у меня ноздри книзу выразительные? Где такое видано! Я тебе скажу: не ожидал. Ерничество это, понятно? Да, я коренаст, — Вася засопел, — но стоит ли это подчеркивать. И какое отношение это имеет к открытому Львом закону равновесия?

Я молчал, хотя мог бы сказать о праве автора на детали, которые, будучи краткими, наиболее полно характеризуют героев произведения. А Васина коренастость присуща ему не только внешне, но и внутренне... Я мог бы сказать: пишите сами!

Точку в дискуссии поставил капитан.

— Автор не выпучивает собственной значимости и не отделяет себя от коллектива. Это факт. Следовательно, говоря о нас, он говорит о себе. А нормальный мужик, если он не зануда, о самом себе может писать только с иронией. И никак иначе.

Рисунки Е. СТЕРЛИГОВОЙ



А КОНРАД ЛИНЦ З
КРОВЬ И СВЕТ
ГАЛАГАРА

ОТБЛЕСК КНИГИ ЭКЗОСМОСА

...Итак, передо мной — Книга. И пусть меня уверяют: мол, пока это только папка со стопой вручную набранного текста, нет ни худо-бедного, даже тоненького переплета, ни пресловутого запаха свежей типографской краски, ни — тем более! — хоть мало-мальского тиража, — буду настаивать на своем. Ибо раньше всего должна быть рукопись. Да и то сказать: руками можно написать сколько угодно, только Книги, особенно в наше рваное, неусидчивое, неписательское время в России, на русском языке получаются нечасто. Тут получилось точно. А значит — лучше бы скорее, но в крайнем случае нестрашно, если и завтра — все равно рано или поздно будут и краска, и обложка, и даже (куда от нее денешься?) земная договорная цена...

Потому что в Книге — Слова. Слова, известные каждому русскоязычному читателю и неизвестные ни единому; вытянутые в витиеватую историческую справку или разбитые на подчас намеренно высокопарные диалоги; слагающие странный, загадочный пейзаж и пущенные вдруг певучей стихотворной строфой. Вместе же они составляют редкой чистоты и своезвучания узор, войдя, вчитавшись в который, невозможно уже не следить за дальнейшими его

сплетениями, и ловишь себя на том, что делаешь это, пока есть возможность.

Узором из Слов складывается Мир. Не наш, земной, и не планеты Нептун или какой-нибудь 2Х6П78, хотя многое в нем узнается, а иное, возможно, присутствует где-нибудь на Нептуне. Третий, восемьсот шестьдесят восьмой с половиной, минус четырнадцатый, если угодно, но — непохожий ни на один, описанный когда-либо в других книгах либо воспроизведенный на холстах художников или кинолентах, яркий, полный жизни и страстей... Имя ему — Галагар.

Тут, однако, надо объясниться. Дело в том, что у Книги уже есть готовое предисловие, где изложено все необходимое для того, кому выпадет поближе узнать этот Мир. Скажу больше: в нем указана туда дорога. Оказывается, в Галагар можно попасть, воспользовавшись несколько доработанным принципом Колумба, как известно, поплывшего на Запад, чтобы оказаться на Востоке. Если дважды совершить кругосветное путешествие, выйти на третий виток, то при определенном стечении временных и географических параметров вы окажетесь в экзосмосе — неведомом пока науке пространстве, гравитационно

привязанном к Земле. Во всяком случае в этом убежден, или почти убежден, профессор из Европы Конрад Линц, чье имя стоит над заглавием Книги, и он полон решимости достичь Галагара немедленно. Поэтому, а также потому, что профессор считает русский язык наиболее подходящим для выражения галагарских понятий, он передает в распоряжение автора предисловия, Аркадия Застыльца таинственным образом попавшие к нему экзосмические рукописи. Дело происходит в 1988 году, в югославском городе Дубровнике, во время абсолютно случайной их встречи.

Конечно, повторюсь, само вступление в Книгу, озаглавленную "Завещание Конрада Линца", куда более полно и подробно ввело бы вас в нее, чем этот мой бодрый галоп. Там, между прочим, имеется и инструкция профессора с некоторыми небезопасными сведениями по галагарскому словообразованию. Но увы, тонкий журнал не более, чем тонкий журнал. Объемистую Книгу на его страницах не разместишь. Оттого и отважился я, ничтоже сумняшеся, на это свое, относительно краткое, журнальное предисловие. Как человек, волей судьбы в числе первых прочитавший "Кровь и свет Галагара". Не без тайной мысли выразить свое к нему отношение. И может быть, чтобы лишний раз задать пару-тройку вопросов как минимум соучастнику создания Книги А. Застыльцу. Благо он, в отличие от К. Линца, тут, рядом, в Екатеринбурге. Мало того: в данный период нашего земного времени регулярно сидит прямо напротив вашего покорного слуги за служебным столом. Сидит, почесывая бороду, и о чем-то размышляет...

И вот вопрос, лежащий на самой поверхности, а значит, будь он задан, то первый: существует ли в действительности Конрад Линц? Имела ли место встреча с ним? Или здесь мистификация, игра имен? Тогда зачем она? Не почетней ли и честней было бы...

Ну, это, пожалуй, слишком. Обвинять писателя в подлоге ни с того ни с сего, без всяких на то оснований по меньшей мере странно. Тем более, я знаю: Югославию в 1988-м Аркадий Застырец действительно посетил, и с ним еще группа известных мне товарищей. Есть, конечно, возможность расстараться и устроить практический допрос с уточнением почасовых перемещений, но сие уже совершенно дурацкая идея. Ведь не следователи мы, преступление же совершенно исключительно во благо! Сказано: встречался, значит встречался. Никому же не приходит в голову выяснять обстоятельства передачи, предположим, известного текста Мастера М. Булгакову. Мастер, если он действительно Мастер, сам знает, что, где, кому и как передавать. Да в этом ли дело, в конце концов?

Нет уж, оставим сию задачку без решения. Не имеет она его, похоже, увы или к счастью.

Вопрос следующий, прозвучи он вслух, воспринимался бы куда более серьезным и концептуальным. Верные читатели "Следопыта" знают А. Застыльца как переводчика стихов Франсуа Вийона, Дж. Р. Р. Толкина, автора вполне реалистической и где-то меумарной повести "Кое-что получше", почитателям известны его блестящие стихи... То есть в "нормальных" жанрах он чувствует себя отлично, и даже лучше тех, кто работает в них ради денег. Так зачем ему рукописи какого-то Линца? Как ни крути, а на грани фантастики: научной ли, иной... Что за

жанровые метания? Пахал бы себе известную борозду, да и...

Увы, тут же ловлю себя на мысли: и этот вопрос нельзя назвать оригинальным. Теперь-то, когда редкий смысленный школьник сомневается в существовании других, нетрехмерных пространств! Нет, среди взрослых еще попадаются большие группы активных материалистов; со школьниками, слава Богу, кажется, спокойней. И даст Бог, когда-нибудь все они проникнутся высоким смыслом слов русского интеллигента: "Человек не может оставаться просто человеком; он либо поднимается над самим собой, либо падает в бездну." Вот это будет поколение! А некоторые писатели, лучшие из лучших, уже прониклись. Причем давно. И я догадываюсь, чей именно пример подвиг А. Застыльца заняться архивами К. Линца. Почти наверное — великого Джона Роналда Руэла Толкина, которого читателям "Аэлиты" представлять не нужно. А также — Клайва Стейплза Льюиса, менее известного у нас, но, может быть, еще более глубоко мыслившего автора богословско-фантастических трактатов, "Космической трилогии"... Между прочим, кроме несомненно замечательного качества их литературных работ, есть у этих людей и общее в биографии: оба они прошли через первую мировую войну, то есть с точки зрения традиционных литературоведов должны бы принадлежать к "the lost generation" — "потерянному поколению" молодого Хемингуэя. Однако — не принадлежат. Они восприняли и пережили земную мерзкую войну совершенно иначе, чем знаменитый реалист. Они, вероятно, поняли: трехмерность настолько часто бывает страшна, унизительна, бездарна и до такой степени ничего нового веками в ней не происходит, что на очередной вариант ее воспроизведения тратить силы уже бессмысленно. Но если существует что-то помимо нее (в чем Льюис-то не сомневался точно), то почему бы, в меру ума и таланта, не поискать это нечто практически? А вдруг главная задача художника на закате XX века, единственная возможность действительно подняться над собой и повести за собой тянувшихся — нащупать путь в другое, более разумное, красивое, справедливое, но не менее нашего реальное измерение любви и ненависти, добра и зла, силы и слабости?..

Да, уже вижу: вряд ли стоит беспокоить писателя и по такому поводу — ведь вариант ответа есть. И даже если я где-то напутал, или упростил — не беда. Интервьюеры у него еще найдутся. Пусть он лучше спокойно размышляет — может быть, над новыми приключениями царевича Ур Фты, чтобы потом до утра склониться над столом, облекая их в завораживающие строки. В конце концов, в пору, когда сплошь и рядом пирожники тачают сапоги, а литераторы либо сбывают давным-давно сделанное, либо ведут партийную пропаганду, либо делают имущество Литфонда, писателя, который много и здорово пишет, стоит элементарно побережь...

Перед вами же, для начала, всего две главы (по галагарски — урпрана) из неопубликованной пока Книги. Лишь отблеск яркого и ясного света Галагара. Когда увидит Книга свет полностью, или будет более обширный журнальный вариант — зависит и от вас, нынешних читателей. Пишите, понравится ли загадочная страна вам...

Андрей ПОНИЗОВКИН

ВОСЬМОЙ УРПРАН

По мере того, как костер, неведомо кем разведенный среди мрачного ущелья, все приближался, ледяная вода в ногах отважного Нодаль все прибывала и прибывала. Ее мертвый беззвучный поток уже доходил ему до колен и ноги заоченели до бесчувствия, когда славный витязь с изумлением заметил, что до костра-то рукой подать и даже языки пламени различимы. Вот они рвутся кверху и с шипением извиваются, стрикляем подобно, и нет в них ни тепла, ни той доброй силы, что влечет и утешает во мраке бредущего путника.

"Вот диво, — подумал Нодаль, — да не в воде же он подыхает!"

Но именно в воде горел себе, не угасая, нехороший костер, прямо из потока восходил, как бы им и питаясь, и синеватые отблески пламени, покачиваясь и дрожа, освещали премерзостную с виду фигуру. Всякий бы ужаснулся, взглянув на нее хоть раз, всякий — кроме того, кто в этот лум с посохом вышел из тьмы.

Храбрый Нодаль не дрогнул и медленным взором окинул стоящего за костром. То был неведомый воин в доспехах из вороненой стали. Шлем в виде черепа кронга укрывал его голову, венчая железную гору пластинчатого панциря. Оплечье, наручи и все остальное изгибом, шипами и гребнями делали его конечности подобными членам громадного индрига, подстерегающего добычу. Руки в кастетных перчатках покоились на длинной железной рукояти, другим концом скрывавшейся в ледяном потоке. Так что нельзя было сразу понять, секира то, палица или что иное.

— Пошел вон, жалкий бродяга! — взревел голос, глухой и бездушный, словно рычание в колодезном срубе. — Я, Страж Костра, говорю тебе: еще шаг — и за твою жизнь я не дам и сплющенной олы!

"Другой бы стал торговаться!" — невесело усмехнулся про себя Нодаль. Конечно, ноги его не слушались, из доспехов была на нем только легкая кольчуга да короткие наручи, скорее напоминавшие широкие браслеты, шлема — и вовсе как не бывало, да и не очень-то был ему нужен этот костер — ни тепла от него, ни душевной радости. Но чтобы Нодальвирихицуглигир Наухтердибуртиаль, которого посылают вон, повернулся и пошел туда, куда его посылают?! Кровь кинулась ему в лицо при этой чудовищной мысли. Никогда!

— Эй ты, мясо в железной бочке! — заорал он изо всех сил и сбросил с плеча свои сумки. — И как ты ее на себе таскаешь? Вылезай-ка, тогда и поговорим.

Вместо ответа раздался страшный рев, и тот, кто называл себя Стражем Костра, двинулся Нодалью навстречу, выдернув свое оружие из потока. И Нодаль увидел, что это гладкая шарообразная булава величиной с хорошую голову и противник его, поигрывая ею, шагает легко, будто и не навешено на нем дюжины-другой циалов железа.

С криком "Помогай, моя саора!" подняв над головой свой посох, витязь тоже подался вперед и сразу понял, что придется ему несладко. Передвигаться по колена в воде, да еще когда ног от холода не чуешь — это тебе не на ярмарке в Сарфо с девчонками динлиганту отплясывать!

Меж тем его противник, обманном движением заведя булаву влево, неожиданно крутанул ею над головой и ударил сверху. Прием этот в Тсаарнии называют "От сердца по уму". Нодаль едва успел отклониться — и гладкий шар булав, не причинив вреда, скользнул по его бедру и ушел в воду, подняв сноп ледяных брызг, окативший витязя с головы до пят. Впрочем, пятки его до того уж были мокры. Отскочив шага на три и не выпуская Стража из виду, Нодаль с изумлением уставился на его булаву, выпорхнувшую из воды с прибавлением: только что бывший гладким шар густо оброс довольно длинными острыми шипами. И не давая Нодалью опомниться, снова взлетел и опустился способом "Култан падает с ветки". Нодаль присел и увернулся. Слева поднялся новый фонтан брызг. Резкая боль обожгла ему плечо. "Ничего себе шипы, — пронеслось в голове, — кольчугу рвут, как тряпку цинволеву! Пора с этим кончать!" Он перехватил посох, собираясь ударить вперед способом "Гром на рассвете", но, кинув взгляд на булаву, глазам своим не поверил. Вынырнув из воды во второй раз, она превратилась в громадный шестопер с острыми, как видрабовые листья, лопастями. "Да что ж это у него за буздыхан окаянный!" — подумал витязь и из-за этого запоздал с ударом на четверть лума. Страж Костра атаковал способом "Скользящее веретено". Выставив защиту "Весло рассекает волну", Нодаль уже знал, что ему делать. Он мгновенно рассчитал направление, откинул вражий шестопер кверху влево от себя и нырнул под воду, прижимая посох к груди. Теперь настал черед растеряться для его противника. В жалких отсветах холодного пламени, да еще через прорези забрала и не имея возможности наклониться пониже, тот не в силах был разглядеть какое-либо движение под темной водой и принялся бить куда попало, вздымая своим шестопером фонтаны ледяных брызг. Но этим он только помог своему недругу. Отчаянно работая локтями, Нодаль прополз по

дну и, выскочив за спиной у Стража Костра, способом "Стальная пощечина" нанес ему такой сокрушительный удар, что у кого другого — голова бы вместе со шлемом на три кепи-та отскочила. А этот — просто зашатался и навзничь бухнулся в воду.

— То-то! — сказал Нодаль, отфыркиваясь. — Вдвоем купаться веселее!

Схватив поверженного за выгнутые крылья оплечья, он приподнял его над потоком и оттащил под скалу, туда, где в свете поганого костра можно было разглядеть его получше. Усадив и прислонив стальную громаду к скале, Нодаль выдернул из ножен свой волнистый кинжал, откинул уродливое забрало и вздрогнул. В мертвящем свете его изумленному взору открылось болезненно красивое лицо: нежная кожа, тонкие черные брови, прямой, чуть приплюснутый нос с изящно очерченными крупными ноздрями и губы, красные, как кровь на снегу. Нодаль торопливо отщелкнул застежки и осторожно снял шлем. По вороненому оплечью рассыпались золотистые волны. Сомнения быть не могло. Сам того не ведая, он поднял свой посох на женщину, и она повержена в прах, а если быть точным — в воду.

Тут ресницы красавицы задрожали, и, с трудом приподняв веки, она поглядела в глаза своему победителю взором, исполненным боли и слез.

Не в силах выдержать его на себе, Нодаль со стоном отвернулся и кинулся искать свои сумки. И они нашлись в ледяном потоке на удивление быстро. По настоянию храброго витязя отхлебнув из его кувшина глоток рабады, красавица задохнулась, закашлялась и заговорила:

— О, мой могучий и прекрасный ликом избавитель! Своим великолепным ударом ты разрушил злые чары, тяготевшие надо мною семь долгих мучительных зим. За все это время от моей руки сложили головы в ледяном потоке две дюжины без одного юных и отважных витязей. И вот, наконец-то, пришел ты, и теперь я спасена, если только тебе угодно будет сжалиться надо мной и довершить мое избавление.

"Вот оно как обернулось!" — с облегчением подумал Нодаль, а в голос поспешно произнес:

— Разве я в силах отказать тебе, дивная красавица? Повелевай, ибо и самая жизнь моя отныне принадлежит тебе!

— Прежде чем назовешь свое имя, поцелуй меня крепко в уста. Тогда холодный костер погаснет, ледяной поток обмелеет, и никогда уже не вернется ко мне отвратительное обличье беспощадного стража.

Сердце храброго витязя часто и сильно за-

билося. Он склонился над прекрасною девою и нежно прижал к ее устам свои — в долгом и упоительном поцелуе. А когда он не без труда прервал его, то с удивлением ощутил на языке неведомый пронзительно-кислый вкус и почувствовал, что сознание его оставляет. Но, прежде чем погрузиться в беспамятство, он успел еще раз взглянуть красавице в лицо и содрогнулся: глаза ее светились открыто злобой, а на губах играла омерзительная усмешка.

Об этом подвиге и трагической ошибке славного витязя с посохом сложены многие песни и записан возвышенным лиглагом величественный эрпарал в тысячу двести строк. Но мы не станем приводить здесь эти строки, чтобы не замедлять повествования, ибо славный витязь вовсе не погиб от вероломного поцелуя и его приключениям суждено было продолжаться к радости и доброй науке того, кто читает Книгу "Кровь и свет Галагара".

Не ведая, какое время — лум, нимех или несколько дней — пришлось ему пробыть без памяти, Нодаль открыл глаза и увидел склоненным над собой знакомое лицо красавицы из ущелья Ледяного Потока. И в тот же лум отчетливо припомнились ему все обстоятельства последнего приключения. Красавица улыбалась высокомерно, но не было у нее в глазах той торжествующей злобы, что давеча так поразила отважного витязя, загоревшись в отсветах холодного костра.

Теперь изумительная красота ее лика сверкала совсем по-иному, озаренная ровным немеркнувшим светом, что разливался из невидимого источника под белокаменными сводами, оттачивая их жестокие, холодящие сердце изгибы. Ее золотистые волосы были убраны диадемой, составленной из крупных голубых лазрагдов. Высокую грудь стягивал белоснежный латкатовый лиф, густо усыпанный отборными клакталами. А из-под груди ниспадала в пол прямыми, как стрелы, складками полупрозрачная чидьяровая юбка, чья легкая дымка не могла скрыть от стороннего глаза сладостно-уступчивых очертаний.

— Кто ты? Добрая рарава или безжалостная мерма? И что угодно тебе? Растоптать или вознести меня на волшебную высоту обладания тобою? — произнес Нодаль и, рванувшись вслед за отступившей красавицей, с удивлением обнаружил, что сидит, упиравшись спиной и затылком в каменный столб, вокруг которого заведены и крепко связаны его руки. Кольчуги и оружия — как не бывало. Но одежда — в порядке, если не считать сырости, расплывшегося от плеча по рукаву рубахи кровавого пятна и разодранного до пояса ворота. Склонив голову на грудь, он вздрогнул и стиснул зубы: ко



всему пропал и его талисман, его загадочная вещая саора.

— Какая тебе разница, кто я на самом деле? — сказала золотоволосая красавица и вскинула тонкие брови. — Ведь ты уже одарил меня страстным поцелуем и самую жизнь свою по доброй воле отдал мне во власть.

— То была всего лишь учтивая фраза. Не вкладывай в нее много смысла, кроме обычной любезности!

— Ах, вот что! Так, значит, сомнения мои не напрасны, и хорошо, что здравый смысл удержал меня от падения.

— О каком падении ты говоришь?

— Как! Ведь я, повинувшись подсказке безумного сердца, собиралась одарить тебя своей красотой, без стыда отдать тебе на забаву свое искусное тело! С тобою, моим избавителем, намеревалась я разделить власть над тиловым садом, собранным по всему Галагару и состоящим из ловких и прекрасных собою мастериц по части любовных клидлей! Счастье еще, что ты не пытаешься меня обмануть и честно признался в том, что твои слова — не более чем пустые скорлупки учтвого обращения!

Тут красавица звонко хлопнула в ладоши — и под белые своды плавною вереницей вошли дюжины две юных бизиэр. Перешептываясь и хихикая, прошли они перед глазами у витязя. И не было между ними схожих чертами. Любые две чем-нибудь разительно отличались друг от друга: цветом кожи, волос и бровей, разрезом глаз, цветом и яркостью уст, тем, что одна — о двух, а другая — о четырех руках, ростом, мягкостью и шириною плеч, величиной и округлостью бедер и прочим, чем-нибудь или всем сразу.

У Нодаля закружилась голова, и, забыв о своем униженном положении, он вкрадчиво обратился к хозяйке этого цветника:

— О, дивноокая! Почему ты называешь сердце свое безумным? Ведь часто его подсказки настолько верны и полезны, что, кажется, ясно убеждают: сердце умнее ума.

— Ты полагаешь? — пропела красавица и, присев к витязю на колени, правую ручку запустила в его непокорные кудри, а левою принялась ласкать его богатырскую грудь. — Что ж, я не стану спорить и вмиг подчинюсь воле своего сердца, но при одном непереносимом условии: ты тоже внемлешь тому, о чем тебя просит твое.

— Но какую ценой выполнимы его сокровенные просьбы? — спросил Нодаль, сразу вспомнив, что связан, и, как мог, увернулся от нежностей своей притеснительницы.

— Ценою кровавой клятвы, — прошептала

она ему в самое ухо, и этот шепот разбудил славного витязя, будто удар грома.

Он вспомнил о клятве в Бирцидовом саду, о том, куда направлялся, и уразумел, что едва не попался в ловушку.

— Я послушен своему сердцу, а сердце мое преисполнено верности уже данной клятве! — воскликнул отважный витязь.

Красавица сразу вскочила у него с колен и прогнала прочь своих бизиэр. А когда она обернулась, лицо ее было искажено уже знакомой ему отвратительной злобой.

— Упрямый глупец! — крикнула она не своим голосом. — Надо полагать, уж если тебя не соблазнишь, то не запугаешь и подавно?

— Справедливые слова, — спокойно сказал Нодаль. — Но соблазнять ты меня будешь теперь или запугивать — прикажи прежде руки развязать. Я тебя и пальцем не трону, верь моему слову.

— Да ты что, и впрямь вообразил, что перед тобой беззащитное существо? — расхохоталась красавица и, высоко задрав чидьяровый подол, широко расставив колени и вскинув подбородок, уселась в высокое кресло из цельного видраба, заваленное блестящими таранчовыми подушками.

— Я тебе не ласковая красotka, я — все- сильный дварт, наследник Великой Мокморы и подлинный властелин всего Галагара! Имя мое гремит от гор до гор и от моря до моря, внушая трепет и благоговение самым отчаянным смельчакам. Трепещи и ты, храбрый витязь, трепещи и не опасайся, что это повредит твоей славе, ибо имя мое — Ра Он!

При этих словах волосы с сияющей диадемой, прекрасное лицо, нежная кожа вместе с изысканным одеянием — словом, все обличье мнимой красавицы потемнело и, словно смола мубигала, нагретая в пламени, оплывая, шипя и пузырясь, потекло вниз, к ногам Ра Она, и бесследно исчезло, обнажив его настоящий вид. Был он в том же одеянии, в каком накануне явился в шатер Цфанк Шана: желтая с красным горская шапочка из свори, короткий сигон, высокие тарилановые сапоги с отворотами и простой кинжал на боку. Злокозненный дварт поднялся со своего кресла и взглянул на славного Нодаля вниз с невозмутимым презрением.

— Если бы ты действительно был все- сильным двартом, — не растерялся тот, — то не стал бы в страхе перед честным агаром привязывать его за руки к каменному столбу.

— Как тебе в голову-то пришло? — фыркнув, сказал Ра Он. — Чтобы я стал возиться с веревками из страха перед таким мозгляком? Да ты привязан к столбу собственным воображением! Страх сковал тебе руки!

Нодаль рванулся и с удивлением обнаружил, что и впрямь свободен и ничто не мешает ему подняться и размять ноги. Не веря собственным глазам, он повернул перед ними свои запястья и не обнаружил на них никакого следа от веревок или оков. Затем он храбро посмотрел в лицо чернородному дварту и громко сказал:

— Ты связал меня при помощи чар, а теперь пытаешься вызвать страх и растерянность, которым — ты знаешь прекрасно — вовек не свить гнезда в моем сердце!

— Красиво говоришь, агар, — ответил Ра Он и вновь опустился в кресло. — Отчего ты не хочешь послужить мне, всеильному дварту? Ведь я нуждаюсь в таких храбрецах.

— Я поклялся служить верой и правдой наследнику цлиянского престола до тех пор...

— До тех пор, пока он не смешает с грязью несчастного Ра Она? — усмехнулся злокозненный дварт. — Ладно, не отвечай. Это мы еще посмотрим, кто из нас счастливчик. А скажи-ка мне лучше, Нодальвирихциуглигир... Ведь таково твоё имя? Скажи-ка мне, какая такая сила или корысть заставляет тебя служить слепому царевичу?

— Ты вряд ли уразумеешь, зловредный дварт, — прямодушно ответил Нодаль. — Я служу ему, оттого что Ур Фта мне дорог, оттого что я полюбил его.

— Полюбил, как любят мальчиков в Зимзире? Вполне понимаю.

— Страсть, о которой ты говоришь, никогда меня не увлекала. Нет, не о том вовсе речь. Я полюбил царевича всей душою, как друга, как брата. И готов пожертвовать собственной жизнью, лишь бы он достиг исполнения желаний, лишь бы ему не в чем было меня упрекнуть.

— Слышал я о бескорыстной любви и о готовности к жертвам на благо другого. Слышал и полагаю, что эта чепуха произрастает в агарских головах от праздности и сытой жизни. Иначе говоря, со скуки! Так вот, теперь я на твоём месте постарался бы слушать внимательней. Бедный Нодаль, твоя бескорыстная любовь терпит крушение по причине отсутствия возлюбленного предмета. Вчера на закате мой верный слуга по имени Цул Гат вложил в нежные ручки царевны Шан Цот самострел, из которого она по моему велению на лету подстрелила Кин Лакка, крылатого прихвостня твоего царевича. Заметь, агар, как я откровенен с тобой. И продолжим. Сверзиться с небес вместе со своей хитроумной свирелью и со стрелой в сердце глупому форлу пришлось как раз во время поединка Ур Фты с тем самым Гоц Фуром, у коего вы по собственной глупости неизвестно зачем украли невесту и коему я вовремя об этом злодействе сообщил.

И как только царевич лишился своего помощника в небесах, Гоц Фур в справедливом гневе нанес ему жестокую рану. Правда, он благородно не стал добивать своего соперника на месте поединка. Я предвидел такой оборот и приказал моему верному Цул Гату уничтожить крианскую царевну. Что он и выполнил в точности, кажется, перерезав ей горло. Благодаря этому несложному фокусу царевич Ур Фта из зятя крианского властелина превратился во вражеского лазутчика, и Гоц Фур, которого мигральцы признали своим царем, приказал им спустить своего соперника, истекающего кровью и раздетого донага, в колодец Ог Мирга, прелестное местечко глубиной в полтора уктаса, где он и догнивает теперь, удобно расположившись на груде агарских костей.

— Это ложь! Ты непрестанно лжешь и при-творяешься! — взорвался Нодаль.

— Ты знаешь, что это правда. Прислушайся к своему сердцу. Да и стал бы я разве лгать с такими подробностями? — спокойно продолжал Ра Он. — Или ты думаешь, мне нет больше дела, как только сидеть и сочинять истории в духе скучнейших цлиянских эрпаралов? Нет уж, поверь мне, бедный влюбленный витязь, все в точности так и есть, как я тебе говорю. И у тебя, бескорыстного ревнителя чужого блага, может существенно поубавиться хлопот, если ты, конечно, по-прежнему будешь упрямыться и не согласишься послужить мне. Подумай, мертвецы ведь не могут потребовать от тебя верности клятве. Да и к чему это им?

— Как же смеешь ты, если все это правда, — взревел Нодаль, как раненый гордый шарпан, — предлагать мне службу теперь, после того, как признался, что ты вероломно сгубил моего друга, его молодую жену и наставника?

— Значит, не хочешь? — Ра Он сдвинул брови и постучал когтями по подлокотникам. — Тогда я не могу не позаботиться о тебе, прежде чем мы расстанемся. Ты ведь только и думал в последние дни, как бы помочь царевичу избавиться от слепоты. Я лишил тебя этой приятной заботы — сам избавил его от недуга, а заодно и от бремени жизни. Но хватит тебе хлопотать о других. Погружайся в ту самую тьму, где пребывал Ур Фта, пока был жив, и позаботься-ка теперь о себе. Это помогает избавиться от досужего вымысла, называемого братской любовью.

Ра Он вытянул свои когти, нацелившись точно в глаза славному витязю, и произнес несколько страшных слов, из тех, что не укладываются в голове у честного агара. И в тот же лум Нодаля поразила слепота.

— Ну как? — усмехнулся злокозненный дварт. — Несладко, да? Но я не беспощаден.

Ты можешь еще отступить обратно к свету. Скажи только: "Слушаюсь, господин".

— Будь ты проклят! — воскликнул отважный Нодаль, отнимая ладони от невидящих глаз и сжимая их в кулаки. — Есть в слепоте и свое преимущество, хотя и единственное, зато несомненное!

— Хорошо говоришь, агар! И что же это за преимущество?

— Не видеть твоей омерзительной хари! Ах, если б еще не слышать твоего поганого голоса!

— Мое уважение к тебе безгранично, — злобно прошипел Ра Он. — Я просто хожу в поводу у твоих сокровенных желаний. Ты хочешь оценить и преимущество глухоты? Ну что ж, это можно устроить. Но позволь и мне удовлетворить свое скромное желание — навсегда заткнуть тебе глотку, чтобы из нее не вырывались больше такие наглые речи.

Тут злокозненный дварт подошел к ослепшему витязю вплотную, расположил свои когтистые пальцы по обе стороны от его головы, быстро произнес новое заклинание и дунул ему в лицо. Нодаль отшатнулся, от неожиданности сел и почувствовал, что уши ему заложило и ни один звук больше не проникает в сознание. Не услышал он ни собственного страшного мычания, когда попытался крикнуть, ни злобного хохота Ра Она, с наслаждением созерцавшего со своего кресла бесконечную растерянность на лице героя, которого, как ему казалось, он превратил в беспомощную тварь. Но это заключение оказалось преждевременным. Нодаль, доведенный до отчаянья своим положением, неожиданно выхватил из-под себя массивный видрабовый ослон, крепко держа за толстую круглую ножку, раскрутил его над головой и швырнул прямо перед собой, да так удачно, что едва не раскроил своему могущественному обидчику голову.

Потирая ушибленное плечо, Ра Он злобно уставился на мычащего и размахивающего кулаками Нодаля и прошипел:

— А-а! Так тебе и этого мало? Ты не встаешь передо мной на колени, не проливаешь слез, беззвучно моля о пощаде? Ну что ж, пробуем еще одно средство.

Он протянул руку в сторону — и прямо из воздуха к нему в когти прыгнул черный бич, сплетенный из прокопченной сыромяти. Нодаль вдруг ощутил, как из внешнего мрака выскочило быстрое жало и обожгло ему лицо, потом еще, и еще раз, грудь, спину, плечи и ноги. Нодаль стоял неподвижно, рассчитывая бросок, и только на пятом или шестом ударе точным движением руки поймал неведомое жало, оказавшееся сыромятным бичом. Но как только он, овладев им, размахнулся, просто

чтобы не оставлять внешний мрак без ответа, бич внезапно исчез, будто в воздухе растаял.

Тогда Нодаль, наугад предпологая, в какой стороне находится его мучитель, повернулся туда и сделал руками фигуру, называемую в Тсаарнии "фек-бек", среди криан — "крухдрак по берзам", а в землях Цли — "тын-дагадан".

— И это тебя не берет, — сказал Ра Он сучающим голосом. — Тогда отправляйся на Черные Копи. Пускай добрые криане прикуют тебя там к тележке в дюжину нимехов и используют как рабочую скотину, понужая бичом с утра до ночи. Все, убирайся. Недосуг мне больше с тобой!

Он шевельнул когтями в сторону несломленного витязя, произнес короткое мерзкое заклинание — и тот исчез без следа.

* * *

Недалек был от истины зловредный дварт, в ледяном своем сердце уверившись в том, что царевич Ур Фта, погребенный в колодце Ог Мирга, — все равно что мертвец. И все же в тот лум, когда верный Нодаль разделил его участь и подвергся тяжелейшим испытаниям, царевич был еще жив.

Не тьма его угнетала: что слепому тьма? Не холод, не пытка гноящейся раной на кошмарном ложе его тяготили — ведь вырос царевич не в пуху фогоратки, с младенчества покорные Син Уру-наставники воспитывали его как воина, приучая к лишениям, трудностям и телесной боли.

А терзали царевича в страшном колодце черная тоска и холод отчаянья. Не давали ему собраться с мыслями об освобождении уколы беспощадной совести.

Горячо оплакивал Ур Фта верного форла и винил в его смерти себя. Слуга — продолжение господина, и господин за слугу во всем ответчик — так научили его с детства. Пусть Кин Лакк был не просто слугою, пусть сам подбил царевича на этот безумный поход, — теперь стало ясно: когда следовало решать своим умом, Ур Фта слушался то форла, то Нодаля; когда же вернее было испросить совета у них, он диктовал им свою непреклонную волю.

Если бы они остались в Айзуре, то нынче сражались бы против криан под Фатаром, где и смерть почетна, не то, что в этой гнилой и безвестной дыре. Если бы они, похитив царевну, повернули назад и через Саклар — в Цлианское царство, то царевна была бы теперь жива и под надежной защитой.

Вспомнив о бедной Шан Цот с перерезанным горлом, Ур Фта застонал и заскрипел зу-

бами от ярости и стыда: где уж ему, слепому и беспомощному, уберечь слугу, когда не сумел защитить ту, которую выбрал в супруги! Да и зачем он смял и позволил неведомому супостату растоптать этот нежный тиоль, с какою целью? Разве любовь, не признающая преград и сомнений, или хоть ненасытная страсть двигала им, когда он вывез это сокровище из Сарката? Нет, одна лишь корысть и холодный расчет — вернуть себе зрение, разделив с царевною ложе! Но и это упование обернулось одной досадой. Выходит, не только сгубил он царевну, но и сгубил ее понапрасну!

Даже всплывший в памяти бодрый голос Нодаля не пробудил теперь хоть слабой надежды. И славного витязя с посохом он, быть может, обрек на смерть, послав одного в опасный и долгий поход. Нет, жить ему после всего, что случилось, и впрямь не пристало! И казнь, что свершается теперь над ним, справедлива и своевременна!

Царевич вернул себе малую толику сил тем, что сам себя заставил поест и до дна осушить кувшин с рабадой, в мыслях своих воздавая должное предусмотрительному Дац Дару. Но и после этого облачиться в доспехи стоило ему огромного труда и мучений, которые продолжались не менее полунимеха. И вот, наконец, он уложил перед собою щит внутренней стороной кверху и вниз рюкотью поставил в него цохларан в ножнах. Опершись на него, царевич с трудом приподнялся, встал на колени, а после — и на ноги. Пошатываясь, он приподнял цохларан, осторожно вытряхнул его из ножен и, придерживая лезвие, отбросил ножны в сторону. Теперь острие упиралось ему под ложечку. Оставалось приподнять в этом месте щиток и навалиться на цохларан всей тяжестью.

"Дорога прямая и прекрасная, не хуже таруана!" — мелькнуло в голове, и вдруг царевич, уже подавшись вперед, в последнюю четверть лума напряг все силы и, вместо того, чтобы осуществить задуманное, повалился на бок со звоном и треском. Лум или нимех пролежал он без памяти, но когда очнулся, не сразу уразумел, что с ним произошло. И все-таки вспомнил, что с порога смерти его столкнуло единственное, случайно явившееся слово. И это было слово "таруан". В своих мучительных раздумьях он упустил одно удивительное обстоятельство: всесильный благородный дварт укрыл их путь на север, в миргальскую твердыню — таруаном! И это может означать только одно: все, что было затем, произошло с ведома и даже по желанию Су Ана. Выходит, что ведомы и желанны для него были гибель Кин

Лакка, убийство царевны, поражение Ур Фты, позор и колодец Ог Мирга!

Царевич похолодел от этой мысли. Тот, кого он с младенчества почитал бесконечно милостивым и могучим покровителем своим и своих сородичей, оказывался на деле коварным и злым соучастником всех его бед. Так зачем отвело от него смерть первое слово в цепочке, ведущей к этому ужасному заключению? Глубокое отчаянье сделалось теперь бездонным. Торопясь оборвать нестерпимую муку падения в эту бездну, Ур Фта рванулся к цохларану, позабыв о телесной боли. И за этим движением вновь погрузился в беспамяństwo.

А когда очнулся на сей раз, ему показалось, что он уже мертв и скользит по волнам к Бездвижному Океану. Но волны отчего-то были теплыми и нежными, как скомканный чидьяр на постели Шан Цот. Все тело его слегка оевал благоуханный и ласковый ветер. Ни боли, ни тяжести, ни душевных терзаний. Слух его наполняли то чудесные трели неведомых птиц, то тихий шелест листвы над головой. Он вошел в обитель мира. Он погрузился в покой.

— Он пришел в себя! — произнес кто-то не высоким, не низким, а необыкновенно глубоким голосом. Сказано это было без тени тревоги или иного побуждения, просто, ясно и ровно, на очень чистом, исконном цлиянском наречии.

— Ты скажешь ему или мне это сделать? — раздался совсем другой, девичий голосок, добродушный и мягкий, как пушинка габаля.

— Ты скажи, дорогое дитя. Ведь ты ни о чем не забудешь, — отвечал заговоривший первым.

— Милый царевич, дай знать, если ты слышишь и понимаешь, — вновь залепетала пушинка.

— Я слышу, — как зачарованный, произнес Ур Фта. — Но что это? Жив я или мертв? Где нахожусь, и кто вы, говорящие волшебными голосами?

— Ты жив и здоров, — рассмеялась пушинка. — А на другие твои вопросы ответов сегодня нет. Я скажу тебе очень важное. Ты ведь будешь внимательно слушать.

Последнее она легко и даже как-то беззаботно утверждала, как то, что само собою разумеется. И царевич понял, что это действительно так, что он весь обратился во внимание и не станет более спрашивать ни о чем.

— Милый царевич, тебе пришлось нелегко и, быть может, придется еще не легче, — эти слова были окутаны грустью, будто прозрачной дымкой, но она сразу растаяла, и все дальнейшее пушинка пролепетала по-прежнему беспечно. — Но впредь наша помощь тебе уже не понадобится. Ты продолжишь

свой путь, как подскажет тебе твое сердце. Только прежде повстречаешься с тем, кому обязательно скажешь:

Трацар крепко держит слово,
Трацар помнит отчий дом.
Скоро встреча будет снова,
Не забыли и о нем.

Ты ведь тоже крепко запомнишь эти слова, а все остальное забудешь, милый царевич.

И вновь она говорила, не повелевая, не настаивая, а только беззаботно утверждая простенькую истину. Так дети в Айзуре говорят: "В одном хардаме — две олы". И радуются уже тому, что на это никто ничего возразить не может.

Пушинка умолкла, и тот, первый, глубокий голос произнес:

— Пора прощаться. Ты ведь выпьешь из этой чаши, царевич, и это придаст тебе сил.

Ур Фта протянул руки по причине совершенной несомненности сказанного, даже не потрудившись кивнуть в знак согласия, и принял массивную гладкую чашу. Он отпил из нее несколько глотков чего-то сладкого и тяжелого. И в тот же лум в голове его засверкали разноцветные искорки. Потрясенный царевич решил, что видит, и видит звезды, о которых слышал не раз и не раз тщетно пытался себе их представить. Но скоро искорки погасли, и воцарилась привычная тьма. Царевич почувствовал, что сидит на земле, прислонившись спиной к дереву, а на коленях у него лежит большой продолговатый коцкут, куда сложены, как сразу же он догадался, его доспехи и оружие. Прохладный воздух был полон ароматами палой листвы и спелых плодов цумилина, из чего можно было заключить, что уже наступила стодневная галагарская осень.

Где он находится и каким образом здесь оказался — об этом царевич не имел никакого представления. Последнее из того, что он помнил, были колодец Ог Мирга и вереница отчаянных мыслей, посетивших его там, на агарских костях. Как ему удалось выбраться оттуда — представлялось неразрешимой загадкой. Вместо ответа на все вопросы, что царевич себе задавал, в голове у него вертелись непонятные строки про какого-то Трацара, который крепко держит слово. И отчего-то повторять их про себя казалось истинным наслаждением.

Он пошевелил руками и с удивлением заметил: не только плечо не болит, но и сил у него столько, что вековые видрабы без топора валить достанет. На себе Ур Фта обнаружил свежие и крепкие одежды: поверх цинволевого тисана укороченный тсаарнский таглон с разрезами на локтях и длинными рукавами, мягкие латкатовые штаны с бахромой, а на ногах

— невысокие сапожки из нежной выделки тарилана. Из увесистого кошелька на поясе раздавался золотой звон.

Кто одарил его всем этим? Кто залечил гноившуюся рану? Сколько дней или нимехов прошло с того лума, когда пропал он в колодце?

В конце концов, царевич махнул рукой на то, чего все равно объяснить не мог, и просто подумал о том, что вот хорошо бы теперь выкурить трубочку саркара.

Он уже не удивился, а только в мыслях вознес хвалу неведомому благодетелю, когда, пошарив за пазухой, извлек оттуда кисет и короткую трубку из корня бирциды, правда, совсем новенькую, необкуренную.

— Три дня не курил, — раздался вдруг у него над самым ухом веселый и бесшабашный голос. — Ты ведь угостишь меня, а то в этих краях не сыскать хорошего саркара.

Конечно, царевич не прочь был угостить незнакомца, хоть и говорил он по-криански, тем более что было в его голосе и в этом утверждении, заменяющем просьбу, нечто приятное знакомое и на редкость располагающее к себе. А все же он решил, что следует соблюдать осторожность.

— Мне, слепому без поводья, подчас трудно бывает понять, куда это я забрел, — по-криански заговорил Ур Фта, протягивая незнакомцу кисет. — Не подскажешь ли ты, любезный, о каких краях ведешь речь? Или, попросту говоря, где мы теперь находимся?

— Как не сказать! — все с тою же бесшабашностью откликнулся незнакомец и, раскурив свою трубку, передал царевичу огонек на лучинке. — Мы на самом краю цумилиновых садов, принадлежащих Клам Чату Щедрорукуму, в окрестностях Эсбы.

Царевич невольно содрогнулся, но виду не показал, а только небрежно заметил:

— Так отсюда недалеко до Восьмибашенной Эсбы? Ну да, надо было мне самому догадаться, ведь только вчера я встретил возы с корсовым сеном. Так агары при них мне сказали, что напрямик направляются в крепость и что будут там до темноты.

— Да нет же, до миргальской крепости отсюда и по прямой-то чуть ли не сотня атроров. Пешком в три дня не добраться. А та Эсба, что поблизости, не миргальская, а крианская, и вовсе не крепость, а город и порт, веселый и шумный. И базар там имеется, и тиолевые кварталы — почти как в Зимзире! Я теперь как раз туда направляюсь, а уж затем — по морю в Корлоган. Там куплю себе гаварда покрепче — и в Пограничную степь, к цлиянам на огонек. Так не желаешь ли со мной до города? Вдвоем ведь куда веселее!



Незнакомец говорил так возбужденно и радостно, точно спешил поделиться счастливой вестью со всем Галагаром. А между тем, не было в его словах ничего особенного. Кроме одного!

— Пстой-ка! Ты говоришь, любезный, что собираешься к цлиянам на огонек? Что это значит? Ты хочешь присоединиться к войску Цфанк Шана и воевать против Ци?

— Да что ты! — рассмеялся тот. — Я вовсе не воин. Но дело ведь и не в этом. Откуда же ты пришел, если даже не знаешь о том, что война уже кончилась, что Цфанк Шан, проиграв сражение под Фатаром и получив известие о смерти царевны Шан Цот, предался великой печали, вследствие чего он в Сторе заключил мир с Белобровым Син Уром и отвел войска за горы Шо?

— Откуда пришел? Да я и сам толком не знаю! — сказал царевич, на радостях даже об осторожности позабыв.

— Тебе неведомо не только куда, но и откуда ты явился? — удивленно переспросил его собеседник. — Давненько же ты, как видно, ни с кем не заговаривал! А ведь это странно. Здешние места — не пустыня Лаглаг, чуть не на каждом керпите можно встретить агара.

И в тот же лум к нему вернулась прежняя веселость. Незнакомец повторил радужное предложение вместе с ним прогуляться до Эсбы, на сей раз заботливо предупредив Ур Фту:

— Попадаются здесь, как, впрочем, и всюду, не агары, а сущие кронги. Они зрячего, как слепого, догола разденут и хорошо, если отпустят живым. Что уж о тебе говорить! Твой здоровенный коцкут видать издалека, одежда на тебе добрая, кошелек пухлый. Поверь моему слову, в одиночку тебе далеко не уйти.

Ур Фта опять насторожился. "Может, война и кончилась, но не для меня, — подумалось ему. — И что-то чересчур радушен этот незнакомец. Не слуга ли Ра Ону? Я ведь теперь один. Так лучше себя не выдавать и ото всех держаться подальше. Слишком уж просто меня заманить в любую ловушку". А незнакомцу сказал:

— За меня не беспокойся, любезный. Слух у меня тонкий. В случае чего — убегу, а не то и отобьюсь от супостатов.

— Ну, гляди. Ты ведь сам знаешь, что для тебя лучше. А покуда прощай и прими благодарность за славный саркар.

И вновь у царевича что-то дрогнуло в сердце от этого "ты ведь сам знаешь". Он вскочил и еще обратился к незнакомцу, успевшему повернуться к дороге лицом:

— Я хотел бы узнать твое имя, чтобы впредь расспрашивать встречных о тебе.

Незнакомец, ни на лум не задумываясь, беспечно отвечал:

— Криане называют меня Тэр Цатом, а вообще-то я Трацар, Трацар, родом из Лифаста.

— Трацар... — изумленно повторил царевич и невольно продолжил:

Трацар крепко держит слово,
Трацар помнит отчий дом.
Скоро встреча будет снова,
Не забыли и о нем.

Тут настал черед удивляться для того, кто назвал себя Трацаром.

— Что ты сказал? — не то с ужасом, не то с восторгом воскликнул он. — Ведь ты повторишь эти строки, ведь ты знаешь, что для меня нет ничего важнее!

Ур Фта отметил про себя, что действительно знает об этом, и без промедления повторил загадочные слова.

— Кто ты? — обратился к нему Трацар с трепетом в голосе. — Ведь ты назовешь свое имя и расскажешь мне обо всем, что было с тобой.

Царевич ни лума не сомневался в том, что так оно и будет, и крепко сжал всеми четырьмя руку, протянутую ему Трацаром.

И это рукопожатие — последнее из того, что есть в восьмом урпране книги "Кровь и свет Галагара".

ДЕВЯТЫЙ УРПРАН

Время, не заполненное событиями, кажется, течет медленно, капля по капле. Но когда, оглянувшись, пытаешься нимех за нимехом восстановить в памяти сколько-то дней, проведенных в праздности или делах обычных, это оказывается нелегко. Пустое и безгласное, такое время скатывается за спиною, как прорванный гаргаст по склону горы, и лежит в пропасти прожитого, не подавая признаков жизни.

Напротив, каждый нимех времен, исполненных напряжения и опасности, хотя и пролетает стрелою — зато в памяти поет и гремит неустанно, переливается всеми цветами, даже если залит грязью и кровью. А испытывший такое словно получает указание неведомого наставника: "Вот настоящее время, вот настоящая жизнь. Здесь она начинается и здесь кончается".

Эта древняя галагарская мудрость впервые на деле открылась Ал Грону Большеносому в самом начале войны, когда никто еще ведал не ведал, что суждено ей продлиться только до начала осени и воинский пыл кровожадных

криан остынет под Фатаром прежде, чем завяжутся черные плоды сердцевника.

А ведь этим летом славный юноша думал сыграть свадьбу. И вот, вместо первой счастливой близости выпало ему и его возлюбленной Чин Дарт унылое расставание. Прощаясь, Чин Дарт молча заключила жениха в объятия и своими руками повесила ему на шею простенький талисман — резную фигурку сужицы, сжимающей в клюве кольцо.

Второй день войны Ал Грон встретил в дороге, во главе небольшого легковооруженного отряда в две дюжины всадников. Выполняя волю Син Ура, они направлялись напрямиком из Айзура в Стор, чтобы узнать о судьбе гарнизона, осажденного вражеским войском, и, если понадобится, оказать ему посильную помощь. Великий царь двинул войска по дороге на Фатар, где рассчитывал дать большое сражение. Но предполагая, что осада Стора может продлиться хоть до зимы и оттянет значительные силы Цфанк Шана, он послал туда три отряда. Были они немногочисленны и двигались порознь, но именно это позволяло рассчитывать на успех. В случае, если из Стора придут хорошие вести, — решил великий царь и мудрый полководец, — черную дюжину Ивора, которая уже спешит соединиться с цлиянским войском, разумно будет направить к Стору в обход через перевал Утешного Грома. Можно не сомневаться в том, что они прорвут осаду и, проникнув в крепость, помогут ей удержаться еще дней сто, не меньше.

Отряд во главе с Ал Гроном мчался, не разбирая дороги, по редколесью в предгорьях Шо. За день быстропалые звери прошли половину пути. Ночью, после небольшого привала, отряд продолжал двигаться и к середине следующего дня приблизился к берегу Асиалы. Там, за ее бурными и неглубокими в этих местах водами, высились бастионы Стора. Но разглядеть, что происходит вблизи крепости, отсюда цлияне не могли. Тому помехою были густые заросли сабирника высотой в полтора агара, покрывавшие противоположный берег реки.

Желтолицый Фо Гла по указанию Ал Грона быстро вскарабкался на высоченный развесистый габаль и по прошествии афуса торопливо спустился вниз.

— Надо поворачивать назад, Ал Грон! — сказал он встревоженно, но без страха, и вскочил в седло. — Гарнизон не выдержал штурма или изменил цлиянскому престолу. Криане уже в крепости.

— Ты не ошибся, зоркий Фо Гла? Из чего исходя, пришел ты к столь печальному заключению?

— Своими глазами я видел крианский отряд,

неспешно выезжающий из Северных ворот Стора.

— Откуда уверенность, что отряд — крианский?

— Ал Грон! Ты считаешь меня несмышленным мальчишкой? Отряд выезжал под флагом зимзирской гавардерии!

— Зимзирской гавардерии? И как же выглядел этот флаг?

— Э! Да ты просто издеваешься надо мной или разыгрываешь из себя наставника Кта Гла!

— Когда я погибну в схватке, ты займешь мое место и сам станешь принимать решения. А пока этого не произошло, отвечай на мои вопросы ясно и без раздражения! Я должен быть полностью уверен, что донесение, которое мы принесем великому царю, соответствует истине. Как выглядел флаг?

— Три черных алазара в белоснежном поле с голубою волнистой канвой.

— Ты не ошибся, зоркий Фо Гла, поворачиваем гавардов!

Но повернуть они не успели. Вылетев из зарослей сабирника, просвистела поющая стрела. И Фо Гла вскрикнул от боли — стрела вонзилась ему в левый глаз. Вторая поразила Ал Грона в плечо, третья смертельно ранила одного из их отряда, четвертая — второго. Ал Грон вырвал стрелу и даже не почувствовал боли, затем выставил щит и, повернувшись к отряду, взревел:

— Назад! Отходите за деревья!

В тот же лум из зарослей на другом берегу со свистом и гиканьем вылетели дюжины три тагун, обнаживших зайгалы, и, вздымая фонтанами брызги, погнали гавардов по воде.

— Слушать приказ! — увидав такое дело, вновь возвысил голос Ал Грон. — Четверо — ты, ты, ты и ты, остаются со мной. Остальные лесом — и в горы! Выполняйте, именем Син Ура!

И тут он услышал голос своего товарища, с коим в мыслях готов был навсегда проститься. Фо Гла в тот лум, когда его поразила тагунская стрела, откинулся навзничь на круп своего гаварда и, раскинув руки, простерся как мертвый. Но тут же пришел в себя и выпрямился в седле. Затем, собрав всю свою волю, одним стремительным движением вырвал стрелу из окровавленной глазницы и отшвырнул ее в сторону. Вид его был воистину страшен: лицо перекошено и забрызгано кровью, багровая струйка стекала по левой щеке к уголку рта. А от его крика похолодело бы нутро у самого горячего воина:

— Здесь Фо Гла, сын айзурца Гла Ина! Цур аррада, крианские твари!

Он обнажил свои триострые цохлараны,

молниями сверкнувшие в лучах высокого солнца, и первый помчался навстречь тагунам. Ал Грон и еще четверо храбрецов устремились следом. Все остальные, повинувшись приказу, стремительно отступали. Им было назначено уцелеть, чтобы постоять за Цли в новых сражениях и, быть может, отомстить за тех, кто ценою собственной жизни спасал их теперь.

Шестерых искромсал разъяренный Фо Гла. Пятерых довелось отведать не менее быстрых и острых цохларанов Ал Грона. Но если бы эти двое могли спокойно оглядеться по сторонам, они тут же заметили бы, что прочие четверо не столь удачливы были в этом неравном бою и в первый же афус попадали в бурный поток Асиалы — кто с разрубленным черепом, кто наполю от плеча, а кто и вовсе без головы.

— Какие воины сражаются на стороне Цли! — сокрушался начальник тагунского отряда, наблюдая неравную битву из зарослей сабирника. — Если бы у меня под началом был хоть один из таких!

И он изо всей мочи крикнул своим:

— Хватит! Не смейте еще их поранить! Взять, не медля, живыми! Они того заслужили.

В тот же лум Ал Грон и Фо Гла обнаружили, что вокруг них образуется пустое пространство. Держась на расстоянии в несколько керптитов, тагуны взяли их в кольцо. И тут же со всех сторон полетели арканные петли...

Они попали в плен весной, а теперь уже осень была в разгаре. Но при воспоминании об этих событиях сердце в груди Ал Грона стучало, как маленький гаргаст. И он невольно перебирал в памяти слово за словом, шаг за шагом произнесенное и сделанное в тот день, взвешивал все и мучил себя сомнениями: верно ли он поступил? Быть может, следовало всем отрядом попытаться принять сражение, и тогда им с Фо Глою не пришлось бы теперь гнуть спины, нагружая в тележки тяжелые комья руды и не имея даже слабой надежды когда-нибудь вырваться отсюда. Черные Копи! Прежде он слышал о них краем уха, и они казались ему чем-то далеким и призрачным, как привидевшийся в детстве страшный сон.

И вот они — наяву. Четыре громадные ямы на склоне невысокой горы, называемой Такера, вырытые и ежедневно углубляемые кирками изможденных агаров, узников этого страшного места. Если с рассвета и до заката безжалостный сыромятный бич надсмотрщика опускался на твои плечи не более дюжины раз, можно было считать, что денек выдался счастливым. Были здесь и тсаарны, и жители западного побережья — суровые чарпы, и горцы с юга, и сами криане. Кто попал сюда за

участие в заговоре и подготовке мятежа, кто — за неуплату дани в саркатскую казну, а кто и просто за неосторожное слово, достигшее ушей соглядатая где-нибудь на зимзирском базаре. Попадались, правда, и настоящие разбойники, и воры, и фальшивохардамщики, и содержатели харчевен, угощавшие проезжих лухтиками и похлебкой из агарского мяса. И это особенно угнетало Ал Грона в первое время. Ведь он был воином отменного воспитания из довольно знатного айзурского рода. И вот теперь махал киркой рядом со всяким сбродом, так же, как и они, изможденный и вынужденный испытывать наравне со всеми нестерпимые унижения и побои.

Поначалу большой поддержкой для него был Фо Гла с его неиссякаемой верой в освобождение. Каждый вечер, возвратившись под черный бревенчатый навес, где узники поглощали жалкую похлебку на скарельном масле, укладывались вповалку и тут же засыпали мертвым сном, не обращая внимания на лай и вой нарочно обученных свирепых порсков, Ал Грон и Фо Гла шепотом обсуждали возможности побега.

Однажды в их разговор вмешался какой-то крианин, заросший изжелта-седыми патлами и еле державшийся на ногах. Он оказался опытным саркатским карманником, на чьем счету было два побега, и назвался Хор Шотом.

Хор Шот объяснил, что отсюда существует единственный путь на волю — в селенье Тахар за семьдесят с лишним атроров по горным склонам. В Тахаре можно раздобыть одежду и даже одного-двух тощих гавардов. А уж тогда — ступай, куда хочешь, только гляди, чтобы по новой не попадаться. Правда, идти надо через Долину Кронгов, что недаром так называется, а на это не всякий смельчак отважится.

Нечего и говорить, что Ал Грон с Фо Глою были как раз из тех смельчаков, которых на пути к свободе не мог остановить страх перед каким-то пустоголовым зверьем. И они твердо решили, как только Фо Гла вполне поправится, последовать совету Хор Шота и бежать в горы.

Меж тем, Фо Гла не только не поправлялся, но и заметно сдавал. Рана гноилась. Его лихорадило, как в приступе игвы. По ночам он не мог хорошо отдохнуть и, вместо покойного сна, забывался в тяжелом и жарком бреду.

Все больших усилий стоило ему на рассвете добираться до своего места в яме, а там поднимать тяжелую кирку; все чаще бич надсмотрщика опускался на его исхудалые плечи. И Ал Грон с тоскою думал о неизбежном. Ему хорошо было известно, какая участь уготована больным и не способным более трудиться в яме. Их отводили за пару уктасов от черного

навеса, и там мученья несчастных обрывались одним ударом, а останки скармливались цепным порскам.

И вот наступил тот ужасный лум, когда верный товарищ Ал Грона выронил кирку и повалился на грудь черных комьев, уже не в силах подняться, с каким бы жестоким усердием его ни хлестали надсмотрщики. По счастью, это случилось уже на закате, когда солнце заслонили тучи и немного раньше обычного раздался спасительный крик "Ган тулла!", повинувшись которому изможденные рудокопы поплелись наверх, собираясь в неспешную вереницу, направляющуюся к бревенчатому навесу.

Когда Ал Грон склонился над Фо Глоу, почти все уже покинули яму, не дожидаясь удара бичом. Уразумев, что товарищу его на этот раз уже не подняться, и заметив надсмотрщика, который направился к ним, удерживая на цепи беснующегося порска, Ал Грон поспешно взвалил Фо Глу к себе на плечи и, с трудом переставляя ноги, потащился по направлению к черному склону. И надсмотрщик, повернув в другую сторону, зашагал туда, где корчился, пытаясь встать на ноги, еще один несчастный.

Преодолев несколько утасов, Ал Грон выбился из сил и оглянулся. Надсмотрщик был достаточно далеко. Как мог, осторожно, славный цлиянин опустил товарища на черную грудь и грязным рукавом размазал по лицу пот. И в этот лум где-то поблизости, совсем рядом, раздался звук, заставивший его с изумлением обернуться.

Ал Грон невольно сделал шаг в ту сторону, склонился и внимательно оглядел здоровенную фигуру, прикованную к огромной тележке при помощи обруча и массивной цепи. Неведомый богатырь, развалившийся возле тележки, просто спал, сотрясая воздух тяжелым болезненным храпом.

Прежде Ал Грону доводилось слышать от разговорчивого Хор Шота о каком-то несчастном, прикованном к своей тележке, которого и на ночь оставляют в яме, но видел его он впервые. Если верить Хор Шоту, бедняга был разом слеп, глух и нем, каковое несчастье, по мнению опытного карманника, следовало приписать зловредным чарам.

Выглядел прикованный богатырь ужасно. Лицо его, заросшее густой бородою, покрывал слой несмываемой черной грязи. Глядя на едва скрепленные между собой черные рваные полосы, свисавшие с могучих плеч, трудно было поверить в то, что когда-то они были белоснежным цинволевым тисаном. В столь же плачевном виде пребывали штаны, особенно в нижней части, где сквозь огромные дыры виднелись разбитые в кровь колени. Даже тариановые сапоги, как можно было догадаться,

хорошей работы, не выдержали и истрепались настолько, что из дырявых носков высовывались грязные пальцы.

Тут богатырь, заставив Ал Грона невольно вздрогнуть и отшатнуться, тяжело вздохнул и повернулся набок, громыхнув чудовищной цепью. Подметка правого сапога, как видно, и до этого державшаяся на гнилой нитке, совсем отошла и повисла, обнажив сравнительно чистую ступню. А Ал Грону почудилось, что мизинец богатырской ноги в лучах солнца, напоследок прорвавшихся сквозь темные клубы, сверкнул золотой полоской. Не в силах побороть любопытство, он опустился на колени и, бережно придерживая ступню спящего великана, оттер с нее грязь ладонью. А затем приблизил глаза к загадочному мизинцу.

На какой-нибудь лум он потрясенно застыл, но быстро очнулся, зачерпнул горсть черной пыли и тщательно замазал то, что ему случайно открылось. Потом он снова взвалил на плечи Фо Глу, издавшего слабый стон, и потащил его по склону вслед за медленной вереницей узников.

— Плохи его дела, — сказал придерживавший место для троих Хор Шот, поспособляя уложить охваченного жаром Фо Глу на землю. Ал Грон успел вовремя: как только он со своею ношей ступил под навес, хлынул проливной дождь, и снаружи на бревнах повисли, суетясь, холодные струи. А это означало, что надсмотрщики, как всегда напившись допьяна, не высунут носа из своей теплой казармы, чтобы накормить узников, а только на ночь пустят дюжину голодных порсков на цепях вокруг навеса. То был испытанный способ охраны, и желтые клыки полудикого зверя служили надежнее самой высокой ограды.

Хор Шот куда-то исчез и вновь появился, осторожно переступая через бесчувственные тела, лишённые на этот раз даже обычного подкрепления ничтожной похлебкой. На вытянутых руках, крепко прижав локти к тщедушному телу, он нес деревянную плошку с дождевою водой. Вдвоем с Ал Гроном они омыли лицо и грудь несчастному страдальцу и, когда он пришел в себя, дали ему напиток.

— Послушай меня, Фо Гла! — горячо зашептал возбужденный своим открытием Ал Грон. — Ты помнишь о слепоглухонемом великане, про которого говорил Хор Шот?

— Кажется, что-то припоминаю, — едва слышно ответил Фо Гла.

— Так вот, это не простой агар! Это чрезвычайный посланник. При нем — путевой перстень царевича с клакталовой леверкой!

— Не может быть. Ты бредишь, или тебе померещилось...

— Поверь мне, старый товарищ! Я видел

перстень своими глазами на мизинце его ноги. Разумеешь? Только потому он и уцелел, что находится в столь странном месте. И мне бы его не видать, кабы подметка сапога вовремя не отвалилась!

Фо Гла почувствовал, что сказанное Ал Гроном очень похоже на правду, и его единственный глаз загорелся твердым сухим огоньком.

— Ты помнишь, чему нас учил премудрый Кта Галь? — произнес он слегка окрепшим шепотом.

— Как же мне не помнить! Его слова не вышибить из наших голов и обухом топора! "Если встретишь владельца перстня живым — служи ему как господину. Если же мертвым — доставь его тело со всем, что на нем, к подножию царского трона!"

— Так вот, я надеюсь, для тебя это не просто слова и ты сделаешь все им согласно.

— Я готов бежать вместе с царевичевым посланником, чтобы доставить его к Син Уру, готов хоть нынче же ночью. Но как же мне быть с тобою?

— Без меня тебе не обойтись, это верно, — прошептал Фо Гла, и его искаленное лицо осветилось подобием грустной улыбки. Он повел глазом в сторону и обратился к Хор Шоту. — Послушай, друг. Не мог бы ты показать нам теперь же ту вещь, о которой как-то обмолвился, помнишь?

— Вспомнить — нехитрое дело, когда, кроме этой вещицы, иного имущества нет, — глубокомысленно заметил бывалый саркатский мошенник и вновь ненадолго скрылся.

Вернувшись на сей раз, он наклонился поближе к огоньку маленького тайтланового светильника с фитилем из одежных ремков. Этот светильничек питался скарельным маслом и был изготовлен Ал Гроном, который теперь склонился над ним по знаку Хор Шота и увидел, как в неверном мерцающем свете, высунувшись из грязной тряпицы, сверкнуло заточенное железо. Неведомо где отыскав или оторвав от одной из тележек кованную полосу, Хор Шот тайком по ночам терпеливо трудился над нею, и наконец у него получилось нечто вроде укороченного тесака шириною в два пальца. Рукоятка этого примитивного оружия была плотно обмотана засаленной скрученной тряпкой и вполне удобно ложилась в ладонь.

— Вот и ответ на вопрос, — прошептал Фо Гла, с трудом приподняв и тут же уронив голову. — Но следует торопиться. Нынче удобная ночь. Эти проклятые стрикли и не подумают выползать из своей конуры. Дождь смывает следы. И кроме того, вряд ли я протяну до утра, а мертвечиной порсков не приманишь.

— Что ты хочешь сказать, несчастный? Уж не бредишь ли ты?

— Или вы не уразумели, почтенный Ал Грон? — вмешался Хор Шот, с детства не отличавшийся щепетильностью. — Дело-то очень простое. Перережем вашему приятелю горло, пока еще дышит — а он, видать, все равно не жилец, — разделаем труп на несколько кусков и бросим их порскам. А куда они дерутся из-за агарского мяса...

— Замолчи, безумец! Как только язык у тебя поворачивается говорить такое! — едва сдерживаясь, чтобы не сорваться на крик, зашептал Ал Грон в самое ухо Хор Шоту. Ни тот, ни другой не заметили, как Фо Гла, стиснув зубы, дотянулся до самодельного тесака и вцепился в него, как утопающий в горстку соломы. Когда они обернулись на слабый хрип, все уже было кончено и только из уст героя вырывалась, чуть пузырясь, последняя струйка живой горячей крови.

— Нельзя терять ни лума! — шепнул Хор Шот, прервав скорбное оцепенение Ал Грона. — Иначе окажется, что он это сделал зря.

Прежде чем свершить кошмарное погребение, цлиянский витязь и саркатский вор на прощание обнялись, ибо Хор Шот наотрез отказался принять участие в победе — он-де стар, и время ему умереть, и никогда никому он не станет обузой.

Затем они сделали то, что оставалось им сделать: Ал Грон, не обтирая, сунул тесак за пояс, туго скрученный из рубахи погибшего Фо Глы, и в несколько бесшумных прыжков одолел опасное пространство возле навеса. Здесь он остановился на пару лумов, трижды сотворил адлигалу и не сдержал слез, когда сквозь шум дождя донеслось до него ворчание поганых порсков, грызущихся между собой из-за лишнего куска. "Теперь в этих грязных и смрадных утробах навсегда скрывается то, что совсем недавно являло образ юного прекрасного витязя, меткого стрелка и сына, которым по праву гордился старик-отец! Как же превратна жизнь, и как нерушимо в наших сердцах чувство долга!" — так думалось тогда Ал Грону, и рыдания душили его.

А еще — позднее были сложены об этом многие строки, и, к примеру, такие:

Так погиб верный долгу Фо Гла —
с беспримерной отвагой
Обрекая себя на съедение порскам
цепным.
И Ал Грон зарыдал над погибшим
за общее благо,
Но не чувствовал слез на лице
под дождем проливным.

Опомнившись, мужественный айзурец решил про себя, что — увы! — оплакать погибшего, как подобает, теперь невозможно, а долг перед ним и цлиянским престолом велит как можно скорее освободить царевичева посланника и вести его в селенье Тахар по пути, указанному Хор Шотом.

Когда он, скользя и срываясь, спустился в яму и не без труда отыскал в темноте Нодаля (а ты уж, верно, открыл для себя, что таинственный чрезвычайный посланник, прикованный к тележке на Черных Копях, был не кем иным, как Нодальвирихицуглигиром Наухтердибуртиалем), тот уже не спал, но и не пытался укрыться под тележкой, а сидел на земле под проливным дождем и, мерно покачиваясь, что-то заунывно мычал себе под нос.

(Ты, пожалуй, решил, что Нодаль, в котором теперь трудно было признать витязя с посохом, окончательно свихнулся под натиском выпавших на его долю испытаний. Вот оттого-то, при всей своей пронизательности, ты и не бывал никогда в Галагаре. Оттого и не довелось тебе стоять на дне черной ямы в ту ночь, когда Ал Грон подкрался к витязю с тележкой и бережно коснулся его руки.)

Нодаль в тот лум как бы грезил наяву и вспоминал — а надобно заметить, что только благодаря воспоминаниям он и сохранил в себе жизнь заодно со здравым разумением, — так вот, и вспоминал он на сей раз покойницу Сэгань: про себя нараспев повторял целиком ее дивное заманчивое имя — Сэганьалаталатиль Геалордоцирибур, представлял себе вновь и вновь прикосновение ее нежной, как лепесток тиоля, кожи, ее загадочно прекрасный голос, напевавший податливые или требовательные слова, без которых не бывает любовных клидлей...

Как вдруг совсем иное прикосновение вырвало его из объятий Сэгань. Чья-то шершавая тяжелая ладонь погладила его по руке — раз, другой, третий... Нодаль был искренне потрясен: впервые с того самого рокового дня, когда состоялся его поединок с Ра Оном, внешняя тьма не толкнула, не ударила, не ожгла его бичом, но проявила себя в движении дружественном и многообещающем. Неужели это ему только кажется? А может быть, случайно вынырнув, навсегда канет обратно во тьму, утонет в этом нескончаемом холодном ливне? Спohватившись и не желая ни в коем случае упустить это живое проявление участия и доброты, Нодаль жадно вцепился в неведомую руку. Он прижал ее к груди, стараясь всеми силами выразить свою признательность, и уже было приложился к ней губами. Но в этот лум рука скрылась во тьме так стремительно, словно ее хозяин был чем-то испуган. Однако

не успел Нодаль впасть в отчаянье, как неожиданно ощутил, что незнакомец из тьмы осторожно берет в свои его шестипалые ладони и покрывает их поцелуями, затем обнимает его окровавленные колени, сползает вниз, к самым ступням, и, наконец, слегка тербит мизинец правой ноги, высунувшийся из рваного сапога. Затем незнакомец вновь почтительно приложился к Нодальной шестерне, и, судя по тому, как зашевелилась и начала мерно вздрагивать цепь, теперь пытался ее разбить каким-то орудием.

"Зачем он прикоснулся к мизинцу моей ноги? Что это значит?" — спрашивал сам себя Нодаль. И тут его осенило. Он вспомнил прощание с царевичем в Эсбе. И перстень! Перстень с клакталовой леверкой, увидев который, любой цлиянин должен оказать ему сильную помощь! Какое счастье, что ему тогда пришла на ум эта вздорная мысль — нацепить перстень на ногу и спрятать в сапог! Какое везение в том, что перстень не пришелся в пору и не налез ни на один из пальцев его богатырских ручищ. Нодаль не задумывался ни о том, куда его поведет чудесный спаситель, повинующийся перстню, ни о том, что будет дальше и как ему избавиться от зловредных чар. Великое благо заключалось уже в том, что неведомый цлиянин освободит его от проклятой тележки и выведет из этого кошмара!

Не менее нимеха провозился с цепью Ал Грон, но пришлось бы ему потрудиться вдвое дольше, кабы не подвернулась, еще когда он только спускался в яму, случайно оставленная кирка. Но вот, наконец, одно из звеньев под ударами разошлось — и, привязав цепь довольно длинным, идущим от обруча концом к своему кушаку, Ал Грон крепко взял Нодаля за руку и потащил его за собой.

Покинув Черные Копи, они долго шли в гору, и Ал Грон твердо решил не делать привала, пока им не удастся достигнуть противоположного склона. И это им удалось задолго до рассвета, несмотря на то, что дождь все не прекращался, ноги скользили и время от времени приходилось цепляться за кусты и траву, опускаясь на четвереньки. Как только они перевалили через гору, Ал Грон облегченно вздохнул и прикосновениями попытался передать возникшее у него чувство безопасности своему спутнику. Дождь почти прекратился, тучи рассеивались, занимался несмелый рассвет, и Ал Грон с радостью обнаружил, что спускаться им предстоит, минуя заросли сердцевника, в которых уже поспели тугие черные плоды, а они, надо тебе знать, гораздо сытнее белых весенних, хотя, быть может, и не столь хороши на вкус.

Понятно, изголодавшимся узникам Черных

Копей было не до того, чтобы разбираться в своих вкусовых ощущениях. И они устроили под кустами сердцевника настоящее пиршество, вдоволь набив себе животы ароматной рассыпчатой мякотью. Неплохо было бы и вздремнуть хоть четверть нимеха. Но тревога не оставляла их сердца. В самом деле, не так уж далеко им пока что удалось уйти. В любой лум за спиной может раздаться холодящий всю внутренность лай и обнаружиться погоня. Спутник Ал Грона, как видно, разделял его опасения, тревожно мычал, потихоньку тянул цепь и знаками показывал, что пора идти. Ал Грон смирился с мыслью о том, что до наступления будущей ночи они все равно пребудут неподвластны благодатному сну, и опять вцепился в богатырскую шестерню.

Весь день они продвигались вперед с небольшими привалами. Вторая гора, вставшая на их пути, была гораздо выше первой и завершалась двумя скалистыми пиками; между ними Ал Грон и повел своего подопечного, следуя указаниям Хор Шота. Последняя часть подъема оказалась не на шутку опасной: пришлось карабкаться по скалам, и дважды Ал Грон срывался и, несомненно, разбился бы насмерть. Но спутник его выручал и оба раза подтягивал к себе на цепи богатырской рукой, ничуть не ослабевшей от каторжного труда на Черных Копях.

Но главная опасность таилась впереди. И когда скалистый перевал остался за спиной, Ал Грон, хорошо усвоивший наставления саркатского вора, узнал в раскинувшейся перед ними долине, заросшей по краям, словно живой изгородью, колючими кустами висиллы, страшную Долину Кронгов.

Здесь останавливаться было нельзя. "Единственное ваше спасение, — говорил Хор Шот, — ноги в руки — и бегом. И если доберетесь невредимыми до скалистого склона Тахи, считайте, что вам здорово подвезло: по скалам кронги не лазают!" Ал Грон так и поступил: как мог, прикосновениями дал понять своему спутнику, что придется долго бежать, и, волоча его за собой, припустил вниз по склону. Меж тем, Нодаль, вопреки попыткам своего спасителя объясниться, ничего не понял и искренне полагал, что они бегут, спасаясь от погони. Сначала бежать было легко. Но стоило им достигнуть самой долины, поросшей густой травой, которая доходила Нодалью до пояса и скрывала чуть не на каждом шагу рытвины и ухабы, — и в них заметно поубавилось прыти.

Все же Нодаль непрестанно чувствовал, как спаситель тянет его за руку, несмотря ни на что, побуждая не замедлять бега. И сердце его переполнялось предчувствием надвигающейся опасности. Так, спотыкаясь и падая, причем

чаще всего оба враз, поскольку один увлекал другого, они продолжали свой лихорадочный бег не менее полунимеха.

И вдруг Нодаль почувствовал, как его неведомый друг сильнее сжал ему руку, хотя, уж какжется, и так держался — сильнее некуда. Внезапно цлиянин остановился, замер и вовсе разжал пальцы. Нодаль твердо знал в этот лум, что смертельная опасность, предчувствие которой его не оставляло, совсем близко и что отважный цлиянин, не раздумывая, с нею сразится. Но что было делать ему, несчастному слепоглухонемому? Ведь он даже толком не знал, чего и с какой стороны ожидать.

Меж тем цепочка натянулась и, не давая ни лума на раздумья, повлекла Нодалью за собой. "Схватка уже началась, она в разгаре!" — только и мелькнуло в голове славного витязя. Падая, он вытянул руки перед собой и сам не заметил, как очутился верхом на каком-то крупном и кряжистом теле, да еще и вцепившись при этом пальцами, судя по резким движениям, в чей-то загривок, поросший длинной и жесткой шерстью. Несомненно, это был зверь, и он напал на них с простой своей зверской целью — убить и сожрать. Вот он вскочил, почувствовал на себе неожиданного седока, вот извивается и бьет хвостом по спине, пытаясь его сбросить. Но не тут-то было! Нодаль, еще крепче вцепившись левой рукой в бурдастую башку, вращавшуюся перед ним, как зудрик на вертеле, оторвал и поднял правую руку, до боли сжимая ее в кулак. Поднял — и с выдохом опустил прямо в корень загривка. Потом еще и еще раз. С каждым ударом он ощущал, как под его кулаком что-то хрюкает и подается. Но зверь продолжал извиваться. Тогда Нодаль изо всех сил сдвинул его гибкое тело коленями, левой рукою дернул башку вверх на себя и не без любопытства потрогал правой острые клыки в громадной ощеренной пасти. Не долго думая, славный витязь применил стародавний прием, которому его обучил еще в юности могущественный Олтран. А именно — он отважно чуть не до самого плеча запустил правую руку в зияющую перед ним пасть, ухватил там внутри что-то непрочное и нежное на ощупь и резко рванул наружу, отделившись легкими царапинами на запястье.

Зверь несколько раз судорожно дернулся и затих навсегда. Наскоро ощутив морду и тушу, Нодаль с удовлетворением отметил про себя: "Кронг".

Об этом подвиге еще потом были сложены такие и прочие строки:

Тьма у Нодаля в глазах,
Но он руками кронга видит.
Нодаль глух — и хорошо:

Не оглушить его рычаньем.
Опускается кулак,
Как на наковальню молот,
Трижды Нодаль кронга бьет —
И вот хребет, как ветка, сломан.
Запускает руку в пасть —
И дух наружу выпускает.

И тут Нодаль с ужасом подумал о своем спутнике. Что было с несчастным цлиянином, пока он отделявал кронга? Что с ним теперь? Нодаль ухватился за цепь и сразу нашел своего спасителя. Он лежал навзничь в примятой траве и не двигался. Стоя на коленях, Нодаль ощупал его с головы до ног и обнаружил, что дела плохи. У бедняги была разодрана шея, глубокие следы когтей пробороzдили ему бок, и, верно, ребра были сплошь переломаны. Он уж, кажется, и не дышал.

"Он принял первый удар на себя и снова спас мне жизнь, правда, на сей раз ценою своей", — сокрушенно подумал Нодаль, и слезы хлынули у него из глаз.

И в тот же лум поверженный цлиянин едва заметно пошевелился, и Нодадю, склонившемуся над самым его лицом, почудилось легкое кольхание воздуха возле губ умирающего. Затем тот, как видно, собрав последние силы, подтянул руки к груди и попытался снять какой-то талисман на крепкой бечевке. Нодаль понял его движение и пособил ему избавиться от талисмана. Но рука умирающего, не отпуская бечевки, потянулась к лицу славного витязя, и тот, до конца разгадав предсмертное желание цлиянина, поддержал его руку и просунул в бечевку свою кудрявую голову. Сжав талисман у себя на груди, Нодаль уразумел, что это простая фигурка, вырезанная из дерева, вот на нее и не позарились крианские супостаты.

А если бы он мог слышать, то навсегда сохранил бы в памяти слова, произнесенные Ал

Гроном перед смертью. Всего два слова, а вернее два имени, прошептал он с последним выдохом: "Айзур, Чин Дарт". И пальцы, сжимавшие бечевку на груди Нодаля, разжались, похолодев.

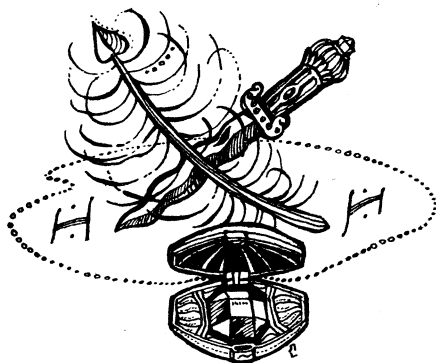
"Теперь и я пропал, — подумалось Нодадю, едва он сотворил адлигалу. — Беспомощен, как младенец. Куда идти — не знаю. Что делать — не ведаю. Одно утешение — кронги в одиночку не ходят. Верно, вот-вот подоспеет еще парочка, так хоть побарахтаюсь с ними перед смертью".

Распутывая узел, державший цепь на поясе умершего, он и не предполагал, как недалеко от истины его мысли в этот лум. Всего пол-атрора отделяло его от кронгов, крадущихся в густой траве, и встреча с ними была уж не за горами.

Как вдруг чья-то слабая, но цепкая ручонка схватила его шестерню и потянула куда-то во тьму. Нодаль поддался — а что ему еще оставалось делать? — и тут же уразумел, что снова придется бежать. Но он не предполагал о наличии еще и другого, спасительного обстоятельства: схватиться с кронгом пришлось, когда до скалистого склона Тахи оставалось не более дюжины керпитов. А потому бежать пришлось недолго. Шесть-семь богатырских прыжков — и Нодаль едва не разбил себе лоб о скалу. На нее-то и потянул его за собой новый неведомый спаситель. И славный витязь принялся на ощупь карабкаться вверх. Вскоре он очутился на каком-то плоском выступе, затем, подчиняясь все тем же цепким ручонкам, пригнулся, сделал несколько шагов вперед и почувствовал, как на него пахнуло пещерной сыростью.

Во тьме этой пещеры скрывается и девятый урпран книги "Кровь и свет Галагара".

Рисунки Л. ЛЕВИЦКОЙ
и Л. САЛМИНА



ТАЙНСТВЕННЫЙ ВЫСОКИЙ ДОМ В ТУМАНЕ

Поутру над морем у скал за Кингспортом клубится туман. Перисто-белый, он растет из глубин, стремясь к своим собратьям-облакам, мечтая о влажных пастбищах, о темных пещерах. Позднее, проливаясь бесшумным летним дождем на крутые крыши людей-поэтов, облака разбрызгивают осколки туманной мечты, и эти люди уже не смогут жить без рассказов о древних тайнах и тех чудесах, о которых по ночам без свидетелей шепчутся планеты.

Когда смутные слухи проникают в гроты тритонов, заползают в раковины в зарослях морских трав, эти раковины и эти гроты издают дикие звуки, которым обучил их Некто Старший, и вот тогда-то большие туманы-мечтатели всплывают к небесам, и любопытный взгляд человека, наблюдающего за океаном, тонет в загадочной белой пелене, укрывающей скалы, и наблюдателю кажется, будто кольцо тумана опоясывает не только каменные глыбы, но и весь мир. В эту пору торжественный гул бакенов

Говард Филлипс Лавкрафт (1890—1937) — американский писатель, создатель "мифологии ужаса". Подобно Эдгару По, одна из культовых фигур в современном жанре "хоррор".



напоминает зауспокойный звон.

К северу от старого Кингспорта поднимаются диковинные величественные скалы, терраса за террасой, до тех пор, пока самая северная из них не повисает в небе, как замерзшее серое облако. Она в мрачном одиночестве нацеливается в бесконечное пространство, а берег круто поворачивает туда, где великая Мискатоник несет с равнин за Аркхэмом свои воды, а вместе с ними — лесные легенды и весьма необычные воспоминания о холмах Новой Англии. Моряки Кингспорта сверяют курс по этой скале подобно тому, как другие морские жители ориентируются по Полярной звезде, а в ночную вахту скала прячет от путников либо показывает им Большую Медведицу, Кассиопею, Дракона. Для местных жителей этот каменный гигант — часть небосвода, исчезающая из виду, когда туман скрадывает звезды или солнце.

Некоторые скалы любимы людьми — как, например, та, что за свой причудливый профиль обрела имя Отец Нептун, или та, в которой высечены исполинские ступени и столбы и которая зовется Мост. Но эта скала — единственная, вызывающая у людей страх, ибо слишком уж близко она находится к

небу. Португальские моряки, плывя издалека, осеняют себя крестным знаменем, лишь завидят ее, а старые янки верят, что легче умереть, чем взобраться на эту скалу — если такое вообще возможно. И тем не менее там, наверху, стоит старинный дом, и вечерней порою люди видят огни в маленьких окнах.

Старый дом всегда был там, и люди считают, будто за его стенами живет Некто, разговаривающий с утренними туманами, что поднимаются из глубин, и, возможно, различающий таинства, которые творятся в океане в те мгновения, когда полоса скал превращается в край света, а бакены начинают свою заунывную песнь. Как утверждает молва, эту скалу никто не посещает, и местный люд избегает наводить на нее свои телескопы. Что касается приезжих, появляющихся здесь летом, то они беспечно разглядывают ее в бинокли, но ни разу не замечали ничего, кроме серой высокой крыши, края которой спускаются почти до фундамента; в сумерках неясный желтый свет пробивается из-под ее скатов. Эти летние пришлые люди не верят, что Некто живет в старом доме уже не одну сотню лет, но не могут убедить уроженцев Кингспорта в своей правоте. Даже Жуткий Старик, который бормочет над свинцовыми маятниками, упрятанными в бутылки, расплачивается в бакалейной лавке испанским золотом вековой давности и держит каменных идолов во дворе своего допотопного дома на Уотер-стрит, даже он может поведать лишь о том, что в дни юности его деда все здесь было точно таким же. Да и в еще более стародавние времена, когда — трудно представить! — то ли Белчер, то ли Ширли, то ли Паунэлл, то ли Бернард был губернатором Ее Величества в провинции Массачусетс-Бей — и тогда, должно быть, эта скала внушала трепет окрестным жителям.

Но вот однажды летом в Кингспорт приехал философ. Его звали Томас Олни, и он преподавал свою мудреную науку в колледже где-то в Наррангасетт-Бей. Он прибыл с толстою женой и шаловливыми детьми, и в его глазах застыла усталость от того, что он в течение многих лет видел одно и то же — скуку, да и думал все эти годы однообразно, дисциплинированно-добропорядочно. Олни глядел на туманы вокруг диадемы Отца Нептуна и даже пробовал гулять в белесом таинственном мире вдоль гигантских ступеней Моста. Каждое утро он встречал, лежа на скалах и вперив взгляд в границу этого мира, дивясь его загадочности и слушая призрачный звон и дикие крики, которые, наверное, были не чем иным, как голосами чаек. Затем, когда туман уходил ввысь, а море становилось привычно-обыденным, с дымками испарений, философ вздыхал и спускался в город, где ему нравилось бродить по узким старинным улочкам, убегающим вверх-вниз, с холма на холм, и изучать обветшавшие фронтоны зданий, затейливо украшенные колоннами подъезды, давшие приют многочисленным поколениям крепкого морского народа. Он даже вел беседы с Жутким Стариком,

который недолюбливал чужаков, и был приглашен в его страшно древнее логово, где низкие потолки и источенные червем панели слушают отзвуки собственных разговоров в короткие часы темноты.

Конечно, Олни не мог не обратить внимание на серый безжизненный дом в поднебесье на зловещей северной скале, сливавшейся с туманом и ночным небом. Она нависала над Кингспортом, и отголоски ее тайн слышались в шелесте листвы кривых городских аллей. Жуткий Старик вспомнил историю, которую знал от отца, рассказывавшего, как однажды ночью из дома на скале вырвался столб света и вонзился в облака высоко в небе. И еще Грэнни Орн, чей маленький домишко на Шип-стрит весь зарос мхом и плющом, прокаркала что-то насчет того, как ее бабка слыхала из третьих уст о призраках, которые выпархивают из тумана на востоке прямо к единственной узенькой двери недостижимого дома на круче: дверь эта расположена со стороны океана, так что увидеть ее можно лишь с корабля.

В конце концов Олни возжаждал новых впечатлений; ему были чужды как страхи жителей Кингспорта, так и ленивая расслабленность отдыхающих, и потому он принял роковое решение. Олни был воспитан в консервативном духе, но, несмотря на это (а может быть, благодаря этому), испытывал тягу ко всему неизведанному, тягу, порожденную скукой бытия. Он поклялся страшной клятвой, что взберется по имевшей недобрую славу северной скале и наведается в этот неправдоподобно древний дом в поднебесье. По здравом рассуждении он пришел к такому выводу: весьма вероятно, что это уединенное место арендовано людьми, которые пробрались туда из внутренних земель по сравнительно легко одолеваемому гребню, тянувшемуся от рукава Мискатоник. Возможно, они вели торговлю в Аркхэме, зная, сколь сильна неприязнь к их жилищу среди населения Кингспорта. Или, допустим, обитатели серого дома попросту не могли спуститься со скалы по той ее стороне, что обращена к Кингспорту. Олни прохаживался вдоль меньших утесов там, где огромная скала дерзко вздымалась ввысь, чтобы соприкоснуться с чем-то божественным, и его переполняла уверенность: человеку не под силу ни вскарабкаться, ни спуститься с нее здесь, по нависавшему над местностью южному склону. Восточнее и севернее скала вырастала до высоты в тысячи футов над водой, и потому оставалась лишь западная сторона, смотревшая в глубинные материковые земли через Аркхэм.

Как-то ранним августовским утром Олни отправился на поиски тропы, ведущей к недостижимой вершине. Он двинулся на северо-запад вдоль неплохой дальней дороги за Хуперс-Понд, миновал старый кирпичный пороховой склад и вышел на луга, поднимающиеся к гребню над Мискатоник, откуда открывался прелестный вид на построенные в георгианскую эпоху белые колокольни Аркхэма, находившиеся по ту сторону реки, в нескольких ли-

гах от нее. Там Олни обнаружил тенистую дорогу в Аркхэм, но никаких следов разыскиваемого пути к морю он не нашел. Леса и луга взбегали по высокому берегу в устье реки, и нигде не было признаков человеческого присутствия. Ни каменных стен, ни заблудившихся коров — лишь высокие травы, гигантские деревья да заросли вереска, все в первозданном состоянии, как во времена первых индейцев. Он стал медленно подниматься к востоку, все выше и выше над рекой, оставшейся слева, все ближе и ближе к морю. Продвижение в избранном направлении с каждым шагом давалось труднее, и Олни не понимал, каким же образом обитатели дома ухитряются выбирать на материк. Он засомневался насчет частоты их посещений рынка в Аркхэме.

Но вот деревья расступились, и справа, далеко внизу он увидел холмы и старые крыши и шпили Кингспорта. Даже Центральный Холм казался карликом с такой высоты, и Олни сумел хорошо рассмотреть старинное кладбище у приходской больницы, под которым, по слухам, находились ужасные пещеры или потайные могильники. Впереди тут и там редко росла трава, виднелись густые кусты с голубевыми на ветках ягодами, а позади всего этого — голый камень скалы и крыша зловещего дома. Здесь гребень сужался, и у Олни закружилась голова, он будто парил в небе в полном одиночестве — с южной стороны разверзшаяся пропасть уходила вниз, к Кингспорту, а если смотреть на север, то легко было определить, что расстояние отсюда до устья реки составляет что-то около мили. Неожиданно перед ним открылась расселина глубиной футов в десять, и философу пришлось спуститься в нее, удерживаясь на руках, а затем спрыгнуть на каменный пол этой ниши, шедший под уклон, и рисковать, медленно сползая к естественному проходу в противоположной стене. Воистину это был путь между небом и землей, путь обитателей таинственного дома!

Появился утренний туман, когда Олни выбрался из расселины, но он ясно различал величественный и неприветливый дом впереди; стены дома были серыми, как скала, а высокая остроконечная крыша вызывающе торчала, нацелившись в некую точку среди молочно-белой морской мглы. Олни выяснил, что с этой стороны, обращенной к материку, нет двери, а есть лишь пара небольших решетчатых окон с мутными, как бычи глаза, стеклами — вылитый семнадцатый век! Вокруг все беспорядочно плыло в тумане, и взгляду было не за что зацепиться в белизне безграничного пространства. Человек был в поднебесье один на один с этим злополучным загадочным домом. Олни стал продвигаться к таинственной постройке, отметив про себя, что стена возведена впритык к краю скалы и потому до единственной узкой двери можно добраться не иначе, как по воздуху. При этом Олни ощутил настоящий страх, силу которого и остроту объяснить было трудно. Ко всему прочему, драпка на крыше сопрела, но не пропала и еще де-

ржалась, а облупившиеся кирпичи по-прежнему составляли дымовую трубу.

Когда туман сгустился, Олни прошел вдоль стены, пробуя распахнуть какое-нибудь окно с северной, западной или южной сторон дома, но обнаружилось, что все окна закрыты. Он даже обрадовался, убедившись, что они не открываются, поскольку чем больше смотрел на этот дом, тем меньше ему хотелось проникнуть внутрь. Вдруг какой-то звук заставил Олни застыть на месте. Он услышал, как лязгнула замочная скважина, а затем последовал протяжный скрип, будто кто-то медленно и осторожно отворял дверь. Звуки раздавались с обратной стороны дома, и путешественник не мог видеть то место, где узкий вход открывался прямо в воздух, в пелену тумана на высоте тысяч футов над волнами.

Вслед за тем в доме загрохотали тяжелые шаги, и Олни расслышал, как распахиваются окна — сначала с противоположной северной стороны, а затем за углом, на западной стене. Настал черед южных окон, у которых он остановился; признаться, Олни испытал нечто большее, чем простое беспокойство. Тем временем шарканье раздалось у ближайшего проема. Олни прокрался к западной стене, пригибаясь напротив открытых окон. Было ясно, что в дом явился хозяин, но пришел он не по земле и даже не прилетел на воздушном шаре или каком ином летательном аппарате. Шаги послышались вновь, и Олни двинулся к северу, пытаясь найти укрытие. И тут прозвучал мелодичный голос. Олни понял: ему не избежать встречи с хозяином лицом к лицу.

Из западного окна выглянул кто-то большой, с черной бородой и горящими глазами. Но голос был мягким и звучал как-то забавно, старомодно, должно быть; поэтому Олни не дрогнул, когда к нему протянулась загорелая коричневая рука и помогла перевалиться через подоконник в низкую комнату, обшитую черными дубовыми резными панелями на манер мебелировки эпохи Тюдоров. Незнакомец был облачен в одежду старинного фасона и, казалось, излучал сияние морских приключений и отблеск мечты об огромных галеонах. До сих пор Олни никак не припомнит, что же еще удивительного он обнаружил в знакомце и вообще — кто такой этот обитатель дома. Но все же он утверждает, что незнакомец был загадочен, добр и таинственным образом независим от времени и пространства. Небольшая комната погрузилась в слабое водянисто-зеленое свечение, и Олни увидел, что дальние окна восточной стены не открыты, а плотно притворены и сдерживают внешнюю мглу мутноватыми стеклами, похожими на донышки старинных бутылок.

Бородатый хозяин выглядел юным, несмотря на то, что в его глазах отражались древние тайны; он словно возник из преданий и незримыми нитями был связан с делами и вещами прекрасной старины. Похоже было, что жители берегового селения не ошибались — он составлял одно целое с морскими туманами и

облаками задолго до того, как первые люди обосновались на равнине далеко внизу и стали наблюдать за его тихой обителью. День уже был на исходе, а Олни все слушал эхо минувших веков и дальних далей, узнавая о том, как повелители Атлантиды боролись со скользким колдовством, которое выползло, извиваясь, из расселин океанского дна, и о том, как гибнущим кораблям полночной порой являются величественные колонны заросшего водорослями замка Посейдона, и терпящие бедствие моряки прощаются с последними надеждами на спасение. Перед ним прошли чередой годы Титанов, но хозяин неожиданно впал в робость, коснувшись тех времен, когда мир был погружен в смутную эпоху начального хаоса, вслед за которой родились боги и даже Некие Старшие, и когда совсем другие боги затевали пляски на вершине Хатег-Клэй в каменистой пустыне близ Алтэра — по ту сторону реки Скай.

И тут рассказ незнакомца был прерван могучими ударами в дверь; за этой старинной дверью из дуба, обитой гвоздями, не было ничего, кроме туманно-белой бездны. Олни почувствовал было прилив страха, но бородач жестом призвал его сохранять спокойствие и на цыпочках направился к выходу, чтобы взглянуть в крошечную смотровую щель. То, что он увидел за дверью, ему явно не понравилось, и хозяин приложил палец к губам, а затем, мягко ступая, двинулся вдоль стен, закрывая все окна на запоры. Покончив с этим делом, он вернулся к гостю и опустился в свое древнее кресло. Олни, томясь мучительным ожиданием, вглядывался поочередно в полупрозрачные стекла мутных окон — в одно за другим, угадывая подозрительный черный силуэт снаружи, в то время как шумный посетитель следовал вдоль стен, решив, видимо, осмотреть дом извне, прежде чем исчезнуть. Олни был рад тому, что его хозяин не отвечает на стук. Там, в пугающей пропасти, скрывалось что-то непонятное; мечтателям нужно быть начеку, дабы не потревожить некое зло.

Но вот сгустились тени; вначале они прятались под столом, а чуть позже, осмелев, принялись шнырять по темным панелям в углах. Бородастый хозяин проделал загадочные жесты, словно сотворяя молитву, и зажег длинные свечи в дивно сработанных подсвечниках из желтой меди. Время от времени он бросал взгляд на дверь, будто ожидая кого-то, и вот раздалось таинственное ритмичное постукивание, некий старинный секретный код. На этот раз хозяин даже не глянул в смотровую щель, а сразу отодвинул в сторону большую дубовую доску, отпирая дверь и широко распахивая ее к туману и звездам.

Вслед за тем в комнату влетели звуки неясных гармоний, всплывавшие из глубин бездны и несшие с собой сны, мечты, воспоминания древней затонувшей земли Могущественных. Золотые огни заплясали на старых замках и засовах, и ослепленный Олни испытал почтительный трепет. Здесь был Нептун, сжимав-

ший в руке трезубец, и его сопровождали игристые тритоны и непостижимые nereиды, а поверх дельфиных спин покачивалась гигантская раковина, в которой высилась яркая, внушавшая почтение фигура перворожденного Ноденса, Повелителя Великой Бездны. Ракушки тритонов издавали сверхъестественный трубный зов, а nereиды извлекали странные ноты, ударяя в причудливо-звонкие панцири неизвестных обитателей черных морских пещер. Древний Ноденс протянул вперед свою ссохшуюся руку и помог Олни и хозяину дома подняться в огромную раковину; ракушки и гонги устроили потрясающую какофонию. Эхо умопомрачительного шума терялось вдали подобно раскатам грома.

Целую ночь жители Кингспорта всматривались в очертания величественно-грозной скалы, как только шторм и туман представляли возможность увидеть ее, а когда под утро маленькие мутные окна погрузились в темноту, они принялись шептаться о грядущих несчастьях и ужасах. А дети и тучная жена Олни зывали к истинному милостивому Богу, Богу баптистов, и надеялись, что их скиталец позаимствует где-нибудь зонт и галоши, покуда к утру дождь не прекратился. Наконец из моря вынырнул рассвет, мокрый, закутанный в туман, и бакены торжественно запели в белесой мгле. К полудню над океаном протрубили эльфийские рога, и в это самое время Олни спустился со скал в старинный Кингспорт — в сухой одежде, чистой обуви и с отрешенным взглядом. Он не мог припомнить, что именно привиделось ему в угнездившемся в поднебесной выси доме так и оставшегося безымянным отшельника, и был не в состоянии объяснить, каким образом ему удалось спуститься с головокружительной кручи так запросто, на своих двоих. Олни вообще ни с кем не разговаривал обо всем этом, за исключением Жуткого Старика, который, выслушав сбивчивый рассказ философа, прошамкал в свою длинную белую бороду какою-то чушь о том, что Олни спустился со скалы не совсем таким, каким поднялся, и что где-нибудь под островерхой крышей или в пугающе-непонятной белой пелене еще мечется потерявшийся дух того, кто был Томасом Олни.

И с этого часа, на протяжении монотонных серых и утомительных лет, философ работал, ел, спал и занимался прочими обычными для горожанина делами. Ничего волшебного не искал он больше в дальних холмах, не вздыхал о тайнах, которые выглядывают, точно зеленые рифы из бездонного моря. Будничность существования отныне не тяготила его, и воображение Олни теперь исчерпывалось добропорядочными и дисциплинированными размышлениями. Вот и сейчас его верная жена становится все толще, дети — все старше, все скучнее и практичнее, а сам он не упустит случая степенно, с гордостью улыбнуться, когда обстоятельства того требуют. Свет любознательности в его глазах угас, и если ему доводится услышать торжественный перезвон или

эльфийские горны, то это случается лишь по ночам, когда, бывает, невзначай забредет старый сон. Олни с тех пор ни разу не наведывались в Кингспорт, ибо их семейству не по нраву запущенные столетние дома с неважным водоснабжением. Сейчас у Олни есть аккуратное бунгало в Бристол Хайлэндс, где нет высоких скал наподобие башен, а все соседи — современные горожане.

Но в Кингспорте ходят странные слухи, и даже Жуткий Старик допускает существование таких вещей, о которых вовсе не рассказывал его дедушка. И сейчас, когда ветер, завывая, рвется с севера, из-за высокого древнего дома, который сливается с небесным сводом в единое целое, все заканчивается тем, что воцаряется зловещая тишина — всегда перед тем, как случиться очередному несчастью. Бывалые люди толкуют о том, что в доме слышатся прекрасные поющие голоса, смех, в котором звучат неземные радости; эти люди клянутся, что в вечерний час маленькие низкие окна светятся ярче, чем прежде. Они утверждают также, что именно там чаще всего разгорается неистовая заря — она сияет голубизной на севере, рождая видения замерзших миров в то самое время, когда скала и дом повисают в этом пронзительном блеске черной загадочной массой. Пелена внизу сгущается, и моряки отнюдь не уверены, что звуки, раздающиеся в тумане — всего-навсего торжественное гудение бакенов.

Но по правде говоря, хуже всего то, что древние страхи, оседая в сердцах молодежи Кингспорта, истончаются, съеживаются. Молодое поколение, вынужденное взрослеть, слушая по ночам при северном ветре слабые отдаленные звуки, готово поспорить, что в доме с высокой крышей не могут гнездиться ужас и зло, ведь в новых голосах отражается радость, да к тому же там звенят смех и музыка. Какие чудеса могут принести морские туманы в это заколдованное место, расположенное на самой северной вершине близ Кингспорта, они не знают, но жадно ловят любые намеки на проявление той неведомой силы, что стучится в дверь там, на скале, когда мгла сгущается. И молодые, как ни страшат их старики, поодиночке штурмуют неприступную кручу в поднебесье и задумываются над тем, что за вековые тайны прячутся под островерхой крышей, и им кажется, что эти тайны — часть мира звезд и скал, мира давних страхов Кингспорта. Старики не сомневаются, что эти юные сорвиголовы вернутся назад, но, тем не менее, беспокоятся — ведь некая сила может задуть огоньки в молодых глазах и изгнать волю из отважных сердец. А им совсем не хочется, чтобы родной неповторимый Кингспорт с петляющими улочками, причудливыми крышами отсчитывал нескончаемую вереницу лет — год

за годом, и с каждым прожитым годом к голосам наверху присоединялись бы все новые, и загадочный смеющийся хор нарастал бы, усиливался, дичал в этом жутковатом месте, где туманы со своими мечтами и снами задерживаются, чтобы немного отдохнуть на пути от моря к небесам.

Местные патриархи не желают, чтобы души их юношей покидали милые домашние очаги и уютные таверны старого Кингспорта; они совсем не хотят, чтобы пение и смех на высокой скале звучали громче и громче. Что же касается голоса, вслед за которым являются туманы с моря и огни с севера, то старики убеждены: новые голоса навлекут на скалы еще больше огней и тумана, и так будет, наверное, до той поры, когда древние боги (о чьем существовании говорят лишь намеками, да и то вполголоса, чтобы не услышал приходский священник) поднимутся из глубин или придут из холодной пустыни и поселятся в доме на этой скале, принадлежащей злу и подступающей слишком близко к приветливым холмам и долинам, населенным простым и спокойным рыбацким народом. Вот этого они и боятся, ибо все неведомое, неземное воспринимают с неодобрением; кроме того, Жуткий Старик часто вспоминает о том, что поведал ему Олни — о стуке в дверь, стуке, которого испугался одинокий отшельник, о черном призраке, замеченном сквозь полупрозрачные стекла удивительных окон, мутных, словно бычьи глаза.

Все эти домыслы, однако, может подтвердить лишь Некто Старший, а до тех пор утренняя мгла всплывает к приметно вздернутой вершине с невероятно древним домом — серым строением с низко опускающейся кровлей, из-за которой не видно ничего, кроме слабого света, зажигающегося вечерами в то время, как северный ветер шумно бормочет о чем-то. Перисто-белый туман тянется из бездны к своим облачным родичам, мечтая о влажных пастбищах и темных пещерах. А когда слухи набирают силу, они проникают в гроты тритонов, и раковины в зарослях донных трав исторгают заунывные звуки, которым обучил их Некто Старший, и тогда туман, вожделя, возносится к небу, и Кингспорт, неудобно приютившийся у меньших скал под нависшей над ними сторожевой глыбой, внушающей страх, смотрит в сторону океана и видит лишь таинственную белую пелену, как будто за линией скал кончается мир, и мерный гул бакенов напоминает людям зауспокойный звон.

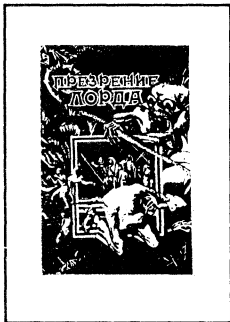
*Перевел с английского
Д. НАДЕЖДИН*

Рисунок С. МАЛЫШЕВА

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Раздраконирует Вас. Кириллов

Стивен Дональдсон. Презрение лорда. СПб.: АП "Васильевский остров", 1993. — 544 с.



Странная, спорная, но при том на редкость увлекательная книга. Автору удалось достичь уникальных эффектов. Во-первых, он создал яркий многофигурный мир, от которого трудно оторваться и который невозможно забыть, но сделал это в тональности бреда или сновидения. Этот эффект, полностью оправданный фабулой романа, выдержан великолепно и, поскольку его удачное воплощение почти не встречается в литературе, доказывает недюжинное мастерство Ст. Дональдсона.

Во-вторых, что тоже не часто встретишь в жанре героической fantasy, главный герой, которому по положению следовало бы разыгрывать супермена, проходит через все перипетии сюжета, оставаясь обыкновенным, глубоко несчастным, тяжело больным, затравленным человеком. Его поведение в сказочном мире не только не идеально, но и неприятно, а иной раз просто отвратительно. Это не только неожиданно, это по-настоящему убедительно и сильно. Яркий пример того, как можно решить традиционную для жанра задачу — борьбы за надежду и веру в читательском сердце — избежав некоторых, увы, столь же традиционных штампов.

В-третьих, то, что может быть воспринято в качестве недостатка или даже неумелости. В романе довольно много невыписанных персонажей, непроясненных ссылок и упоминаний, туманных суждений и диалогов. На самом деле этот прием (кстати, оправданный заданной атмосферой сновидения) позволяет Дональдсону заполнить наше "периферийное зрение", благодаря чему достигается необычайная полнота картины вымышленного (если он и в самом деле вымышлен) мира. Между прочим, такой прием встречается в средневековой восточной, особенно в китайской, крупномасштабной прозе и является одним из признаков реализма высочайшей пробы. Как ни странно.

Но я уж, кажется, в самом начале заметил,

что книга эта — странная. Странная и на редкость увлекательная. Даже не хочется просыпаться... А потому — пять драконов.

Роджер Желязны. Девять принцев в Янтаре. Янтарные хроники, книга I. Пер. с англ. Ян Юа; Илл. Я. Ашмаиной. — СПб.: Terra Fantastica МПТ "Корvus", 1992. — 224 с. (Серия "Золотая цепь").



Пора, наконец, признаться самим себе, что в жанре fantasy слишком много писателей, превосходящих Роджера Желязны мастерством. Так что, пожалуй, и нет особых оснований (литературные премии, разумеется, не в счет: что от них читателю-то?) считать его непревзойденным классиком.

Первый роман из хроник, которые до сих пор почему-то ни один переводчик не догадался назвать как следует, а именно — Янтарскими, показателен с этой точки зрения.

Тому, у кого все еще не дошли руки, имеет смысл познакомиться с ним именно в этом переводе. Работа несколько чересчур загадочного Яна Юа отнюдь не совершенна, однако на фоне других, откровенно безобразных изданий это выглядит просто блестящим.

Стоит прочитать хотя бы для того, чтобы убедиться в странном, мягко говоря, вкусе американской публики. Даже с учетом, вероятно, неизбежных (так говорит Ян Юа) при переводе языковых утрат (живых разговорных оборотов, арготизмов и т. п.) эта история и на русском языке имеет ряд очевидных пороков. Она аляповата, как пачка "Marlboro". В ней чуть-чуть больше достоверности, чем в каком-нибудь геральдическом альбоме. Это история проявлений мужества и воли, не подкрепленных ничем, кроме ненависти и жадности власти. Во всяком случае, в ней не нашлось места ни единой капле настоящей любви или глубокого сострадания. Так, мимолетные соприкосновения, конвульсивная жалость и сомнительного качества благородство. Много силовых эпизодов и бессмысленных жертв, мало юмора.

Вообще роман сильно попахивает компьютерным редактором типа "Word Perfect" и заставляет вспомнить, что американские писатели в этой области давно уже не лыком шиты.

А ведь лыко обладает ничем не заменимой прелестью.

Впрочем, если в истории Роджера Желязны любви и недостает, все же книга наполнена любовью с избытком. Это любовь Яны Ашмаиной, разрисовавшей роман с девичьей тщательностью. Ну что ж, любовь зла... И ей благодаря, не два, а целых четыре дракона. Нет, вернее сказать, всего четыре дракона за целых девять принцев. Хорошо еще, что шестерых из начальных пятнадцати автор потрудился ликвидировать заблаговременно, до того, как начинается действие его многосерийного романа.

Лион Спрэг де Камп, Флетчер Прэтт. Дипломированный чародей, или Приключения Гарольда Ши. — СПб.: Северо-Запад, 1992. — 478 с. (Серия "Fantasy").



Мастера остаются мастерами даже в худших своих проявлениях. Героико-юмористическая эпопея о Гарольде Ши читается легко и не без удовольствия. Местами действительно смешно, в основном за счет столкновения современной лексики с миром высокой литературы.

Немного следовало бы попенять переводчику, который выбрал не самое драгоценное средство передачи этого комического эффекта — испещрил текст выражениями типа "на хрена" и "фиг с ним". Но, боюсь, если бы он этого не сделал, смешных мест осталось бы значительно меньше.

Ничего нового читатель из этой книги не узнает, никаких открытий, ни одного по-настоящему свежего образа или приема. Но разве это не наслаждение — лишней раз почувствовать, как здорово летать на метле или ковче-самолете?

Разве не удовольствие — сопереживать герою, который берет себе в жены энергичную рыжеволосую ведьму из литературно-параллельного мира?

Кто согласен, что в этом что-то есть, не пожалеет, посвятив досуг обществу дипломированных чародеев.

И — мастера есть мастера — рука не поднимается выдать любимым писателям меньше четырех драконов. □

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Конан?!. Конан...

Вдруг выявилось: среди подписчиков наших — немалое количество почитателей Великого Киммерийца! Что ж, по-видимому, он это заслужил. В ответ на просьбы дать библиографию конановского цикла помещаем список романов, повестей, рассказов о Конане, расставленных в хронологическом — для их героя — порядке.

При обилии русскоязычных изданий, вышедших в последние два-три года, составитель списка ориентировался на два основных источника: А) 4-томное Собрание сочинений Р. Говарда (Минск: Эридан, 1992—1993; оно обозначено в списке как А-1, А-2, А-3, А-4) и Б) многотомник издательства "Северо-Запад", с завидной оперативностью выпустившего уже шесть томов (все они датированы прошлым годом, а в списке указаны соответственно как Б-1, Б-2 и т.д.):

1. Конан и Четыре Стихии;
2. Конан и Боги Тьмы;
3. Конан и Меч Колдуна;
4. Конан бросает вызов;
5. Конан и Повелители пещер;
6. Конан и Песня Снегов.

В списке (повторяем: хронологическом с точки зрения героя) указаны: название произведения, жанр, затем — в круглых скобках — его создатели, далее — ссылка на многотомники. В случае публикации под иным названием — приводится и оно, с отсылкой к соответствующему тому "Северо-Запада".

Сам Роберт Эрвин Говард (1906—1936) — легендарный "отец" Конана — создал лишь основу цикла; по оставшимся после его смерти черновикам (т.е. выступая соавторами) и самостоятельно (но, естественно, с оглядкой на уже вышедшие книги) сагу о Киммерийце продолжили Л. Картер, Л. Спрэг де Камп и многие другие авторы. В нашем списке они для краткости даны под инициалами:

- РЭГ — Роберт Эрвин Говард,
ЛК — Лин Картер,
ЛСК — Лион Спрэг де Камп,
СП — Стив Перри,

- ЭО — Эндрю Оффут,
ДБ — Дуглас Брайн,
КВ — Карл Эдвард Вагнер,
БН — Бьерн Ниберг,
РД — Роберт Джордан,
РГ — Роланд Грин.
Итак, вот они — похождения Киммерийца...

1. Песня Снегов: Роман (ДБ). Б-6.
2. Страшилище в склепе: Новелла (РЭГ+ЛК+ЛСК). А-3. То же: Поединок в гробнице. Б-2.
3. Конан бросает вызов: Роман (РЭГ+СП). Б-4.
4. Повелители пещер: Роман (РЭГ+СП). Б-5.
5. Башня слона: Новелла (РЭГ). А-1. То же: Слоновая башня. Б-2.
6. Диадема Богини: Повесть (ДБ). Б-6.
7. Меч Скелоса: Роман (РЭГ+ЭО). Б-3.
8. Черный камень Амонара: Роман (РЭГ±СП). Б-1.
9. В зале мертвецов: Новелла (РЭГ+ЛСК). Б-2.
10. Четыре Стихии: Роман (РЭГ+СП). Б-1.
11. Бог из чаши: Новелла (РЭГ). Б-2.
12. Сплошь негодяи в доме: Новелла (РЭГ). А-1. То же: Багряный жрец. Б-2.
13. Золото гномов: Роман (ДБ). Б-3.
14. Ловушка для демона: Роман (РЭГ+РД). Б-2.
15. Рука Нергала: Новелла (РЭГ+ЛК). Б-2.
16. Город Черепов: Новелла (ЛК+ЛСК). Б-2.
17. Проклятие монолита: Новелла (РЭГ+ЛК+ЛСК). А-3.
18. Волшебные Камни Курага: Роман (РЭГ+РГ). Б-6.
19. Дорога королей: Повесть (КВ). А-3.
20. Дочь Ледяного Гиганта: Новелла (РЭГ). А-1.
21. Тайна врат Аль-Киира: Роман (РЭГ+СП). Б-1.
22. Королева Черного Побережья: Новелла (РЭГ). А-1.
23. "...родится ведьма": Новелла (РЭГ). А-1.
24. Черные слезы: Новелла (ЛК+ЛСК). А-3, Б-4.
25. Призраки Замбулы: Новелла (ЛК+ЛСК). А-1. То же: Ночные тени Замбулы. Б-4.
26. Стальной демон: Новелла (РЭГ+ЛСК). А-1. То же: Железный демон. Б-5.
27. Огненный нож: Повесть (РЭГ+ЛСК). А-3. То же: Кинжалы Дджезма. Б-6.
28. Люди Черного Круга: Повесть (РЭГ). А-1.
29. Конан-корсар: Роман (ЛК+ЛСК). А-3. То же: Корона кобры. Б-2.
30. Ползучая тень: Новелла (РЭГ). А-1.
31. Гвозди с красными шляпками: Повесть (РЭГ+ЛСК). А-1. То же: Алые когти. Б-5.
32. Сокровища Гвалура: Новелла (РЭГ+ЛСК). Б-5.
33. По ту сторону Черной реки: Повесть (РЭГ+ЛСК). А-1. То же: За Черной рекой. Б-5.
34. Драгоценности Траникоса: Повесть (РЭГ+ЛСК). А-4.
35. Волки по ту сторону границы: Новелла (РЭГ+ЛСК). А-4.
36. Феникс на мече: Новелла (РЭГ). А-1.
37. Алая цитадель: Новелла (РЭГ). А-1.
38. Час Дракона: Роман (РЭГ). А-2.
39. Возвращение Конана: Роман (БН+ЛСК). А-4. То же: Мститель. Б-4.
40. Гиперборейская колдунья: Новелла (ЛК+ЛСК). Б-3.
41. Черный сфинкс Нептху: Новелла (ЛК+ЛСК). Б-3.
42. Алая луна Зимбабве: Новелла (ЛК+ЛСК). Б-3.
43. Тени Каменного Черепа: Новелла (ЛК+ЛСК). Б-3.

Следует заметить в заключение, что размещение некоторых (в основном, написанных не самим Говардом) произведений в списке — довольно-таки приблизительное. Что ж, наш список — не догма, и мы будем только рады, если у кого-либо возникнет желание уточнить его или дополнить произведениями, напечатанными в русском переводе в других изданиях.

Родион Икаров,
г. Екатеринбург

Первая мировая война вызвала в России губительную для народного хозяйства инфляцию. Не случайно большевики включили в партийную программу обещание приостановить бумажно-денежную эмиссию, стабилизировать "худеющий" рубль. Сразу после Октября советское правительство ввело валютную монополию: фонды частных банков стали государственной собственностью. Были ликвидированы мозговые центры, вобравшие элиту российского предпринимательства и осуществлявшие кредитование ведущих отраслей промышленности. Вместо финансово-коммерческих учреждений явился наделенный диктаторскими полномочиями "монстр" — Госбанк.

Затем были аннулированы царские долги союзным державам. Это вопиющее нарушение международного права взбудоражило мировое сообщество и надолго лишило страну общепризнанного в цивилизованной практике источника возмещения бюджетного дефицита — внешних займов.

Однако эти меры ожидаемого эффекта не дали. К многочисленным трудностям добавился нелепый на фоне бестоварья "денежный голод", для утоления которого пришлось на всю мощь запустить печатный станок... В результате деньги перестали выполнять функцию регулятора купли-продажи. На рынке возобладали меновые формы торговли с новоявленными "королями" спичек, соли, мыла, керосина...

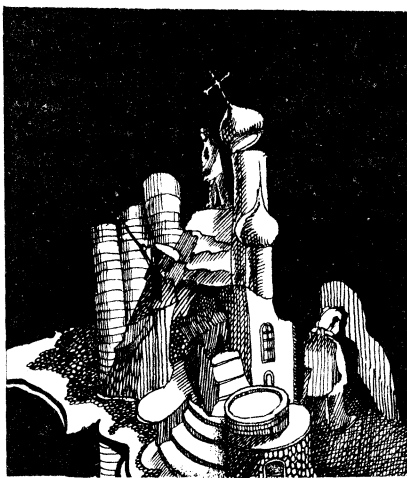
Крестьянство отказывалось продавать сырье и продовольствие, и правительство пыталось наладить с деревней товарообмен. Но резервы товаров повседневного обихода оказались ничтожными, надо было возобновлять внешнеторговые операции. А "совзнаки" на мировом рынке не котировались. Сделки оформлялись только в конвертируемой валюте; долларах, фунтах стерлингов, либо в монете и слитках из благородных металлов.

Для прорыва экономической блокады весьма пригодился золотой запас. Однако "наследства Романовых" не хватило бы даже на неотложный импорт. Поэтому ВСНГ получил указание не допускать снижения добычи валютных металлов, склонять население к добровольной сдаче золота, платины и серебра в сейфы Госбанка. Но установленная цена в 12 руб. за золотник золота была настолько смехотворной, что рабочие национализированных золотодобывающих предприятий Урала забастовали. Зимой 1918 года цена возросла до 32 руб., но тоже не компенсировала затрат. Деловые советы приисков, особенно северных, требовали ее повышения до уровня прожиточного

Александр
ДМИТРИЕВ

Злоключения твердого червонца

Из прошлого
советских финансов
и уральского золота



минимума (50—52 руб.). Москва формально согласилась, но просила старателей чуточку подождать, взявшись тем временем за экспроприацию ценностей (драгметаллов, произведений искусства). Тем, кто помогал выявлять благородные металлы, полагалось денежное вознаграждение в размере трети официальной стоимости "находки". Прииски между тем ответили на неуступчивость "рабочекрестьянского" правительства саботажем. Большая часть золота, минуя Екатеринбургскую золотосплавочную лабораторию, уходила на черный рынок.

Запрещение свободной торговли, углублявшаяся безработица в городах, замораживание зарплат горняков и металлургов послужили немаловажной причиной "демократической" контрреволюции 1918 года. "Верховный правитель" России А. В. Колчак прежде всего реставрировал на "освобожденных" территориях частную собственность. На волне победных сражений, захвата в Казани золотого запаса, поддержки зажиточного крестьянства и казачества положение белогвардейских формирований к 1919 году окрепло, но материально, особенно в поставках вооружения, они всецело зависели от бывших союзников, помогавших отнюдь не бескорыстно. Вот почему Сибирское правительство ставило главной хозяйственной задачей возрождение золото-платиновой промышленности. Оно предоставило акционерным компаниям льготный кредит, содействовало закупке за границей горнодобывающей техники, радушно встречало представителей иностранных деловых кругов. С открытием на Урале консульств сюда зачастили бизнесмены Англии и Франции, встревоженные активностью конкурентов из США. Однако те и другие воздерживались от капиталовложений до окончательного прояснения обстановки.

В условиях безудержной инфляции и непредсказуемости будущего утечка золота к доморощенным и заморским скупщикам вряд ли уменьшилась и все же за неполный весенне-летний сезон 1919 года в Екатеринбургскую золотосплавочную лабораторию поступило с приисков свыше 40 пуд. желтого металла, присовокупленного отступавшими с Урала колчаковцами к золотому запасу.

Вокруг "колчаковского золота" остается еще немало загадочного. Доподлинно известно лишь о крушении и ограблении поезда "партизанами" на станции Татарской. В Нижнеудинске золотом похищен атаман Семенов, кое-что перепало впоследствии правительству Дальневосточной республики. Спohватившись, командование чехословацкого корпуса до-

ставило эшелон под охраной в Иркутск, где золото, вместе с обескураженным адмиралом, было передано членам эсэровского Политцентра и Реввоенсовета РСФСР за право беспрепятственного выезда легионеров в Чехословакию. С предательством Иуды сравнили эту шкурную акцию замерзавшие на марше соратники Колчака и русская эмиграция...

Обманчивые успехи политики "военного коммунизма", и фактическое упразднение денег породили среди руководства уверенность в полной их ненужности для социалистического строительства. Вынужденное свертывание денежного обращения преподносилось трудящимся как сокрушительный удар по буржуазии. Партийные пропагандисты наперебой расхваливали преимущества безличных расчетов над денежными. Высокопоставленные бюрократы, занимавшие роскошные апартаменты и снабжавшиеся "кремлевским пайком", и впрямь теряли интерес к деньгам. По другому отнеслись к безответственным заявлениям люди обездоленные. Они видели в предельно централизованном безденежном хозяйстве игру с огнем...

Крестьянские восстания, мятеж "гвардии революции" — матросов Кронштадтской военно-морской базы — заставили кабинетных теоретиков спуститься с небес на грешную землю. Разверстку заменили щадящим налогом, положив начало НЭПу. А допущение в производстве и торговле частного предпринимательства и вообще было невысказано без возврата к денежному обращению, причем назрела потребность в устойчивой валюте.

Теперь только кучка "леваков" в ЦК РКП(б) сомневалась в необходимости финансовой реформы. После горячей дискуссии в Кремле победили сторонники восстановления денежной системы на металлической основе. К этому подталкивал и пассивный характер внешней торговли, быстро "съедавшей" и без того расплывчатый колчаковцами золотой запас.

Директора зарубежных корпораций, что имели до революции на Урале десятки промыслов, увидели в нэповской смене вех добрые предзнаменования, они предложили Москве взаимовыгодное сотрудничество. Но совнарком не пожелал делиться прибылями от валютного сырья с "коварными империалистами". Считал, что самоокупающаяся золото-платиновая промышленность выберется из кризиса без посторонней помощи. Отрасль реорганизовывалась под знаком тотального огосударствления. Жизнеспособные пред-

приятия Урала объединились в тресты "Уралплатина" и "Золоторуда".

Дела платинового треста, учрежденного в декабре 1921 года, вскоре пошли в гору: спрос на уникальный металл за рубежом был велик, а разрабатывались крупнейшие в мире платиновые месторождения преимущественно дражным способом. Иной жребий выпал "Золоторуде". Ей достались затопленные рудники, раскуроченные электростанции и опустевшие в лихую пору старательские поселки. На Южные округа претендовали Туркестан и Башкирия, которые стремились подчинить себе Джетыгаринский и Айдырлинский центры золотодобычи. Мешали кабальные условия, навязанные тресту монопольным кредитором и заказчиком продукции — Наркоматом финансов. Это ведомство приобретало у треста золото по заниженной цене, а реализовывало в экспортно-импортных сделках по мировой. Непосредственные производители лишались львиной доли прибыли. В то же время ссуды выдавали тресту под большие проценты, оплата нередко подолгу задерживалась. Кадровые рабочие возмущались "уловками", которых не позволяли себе даже "проклятые капиталисты". Стоимость золота на внутреннем рынке фиксировалась и раньше, но она периодически пересматривалась с ориентацией на мировой уровень.

Впрочем, далеко не все отваживались выдвигать справедливые требования. Ведь свирепствовала безработица, а трудовые конфликты все чаще решало навязываемое страхом ГПУ... Робкие и законопослушные "надрывали жилы"; удалые же "приналегали" на хищничество...

Мастеровые, кустари, хлебопашцы, мелке служащие раньше на драгоценности не зарились, разве что дарили простенькие украшения невестам, а теперь вовсе сторонились ювелирных магазинов пронырливых спекулянтов — боялись попасть за решетку. В преддверии финансовой реформы правительство усиленно "стягивало" благородные металлы в сейфы госбанка. Ювелирные изделия, даже обручальные кольца вносились в реестр предметов роскоши и облагались высоким налогом. Торговать украшениями из платины, золота, серебра в комиссионных магазинах разрешалось лишь после их "освидетельствования" в пробирных управлениях — это был простой способ разузнать, кто и чем располагает и заранее определить сумму налоговых поступлений в местный бюджет.

К тому же за химический анализ, регистрацию и клеймение взималась пробирная пошлина — завуалированный на-

лог. Столоначальники финансового ведомства с дореволюционным стажем считали правильно: налог на "предметы роскоши", когда большинству сограждан жилось впроголодь, неизбежно активизирует их куплю-продажу на черном рынке. Уже со второй половины 1922 года на толчки и базары рекой потекли изделия из драгметаллов. Скупщики не зевали, вороньем набросились на раритетный товар. Но прибрать к рукам "злато-серебро" им помешали неожиданные соперники. Крепкие, тренированные молодцы продемонстрировали очевидный перевес сил и прочно утвердились в эпицентре "вольноприносительного золота" — то были финагенты, уполномоченные государством тайно скупать валютные металлы и охранявшиеся милицейскими нарядами в гражданской одежде. В архивах мне доводилось видеть удостоверения, которые уральские отделения госбанка выдавали должностным лицам с целью приобретения драгметаллов в монете, слитках, изделиях, самородных зернах по рыночным ценам. Достаточно было известить начальство шифрованной телеграммой о движении последних, как по каналам ГПУ банковским эмиссарам незамедлительно высылались дополнительные ассигнования.

Не подозревая о секретных действиях правительства, Уралпромбюро распорядилось открыть вблизи Кочкарских, Миасских и Березовских промыслов скупочные пункты для "откачки" расхищавшегося старателями металла: сверхплановое золото предполагалось обменивать на инвалюту, крайне необходимую рентабельным предприятиям края. За полгода уральское объединение "наскребло" чуть более одного пуда золота, тогда как наркомфиновская команда заготавливала его десятками пудов. Мог ли убыточный трест состязаться с всемогущим конкурентом? Да и рискованно было портить отношения с кредитором-монополистом. Пришлось ретироваться.

Утешением для "Золоторуды" послужил очередной сюрприз черного рынка: краденое золото вдруг схлынуло, несмотря на восходящую добычу. Одной из причин стал выпуск в 1922 году "червонцев", равных 10 рублям, обеспеченных на четверть номинальной стоимости драгметаллом.

Заявка на возврат к золотому стандарту поселила радужные надежды у обладателей желтого металла (нэпманов, привилегированных интеллигентов, парти и госаппаратчиков, профессиональных спекулянтов). Отныне они не спешили с ним расставаться. Обесценивание золоту вроде бы не грозило, налогом оно (в не-

обработанном виде) не облагалось. "Незаконное" хранение, правда каралось конфискацией и лагерным сроком, но ведь обнаружить криминал можно было только при обыске. А владельцы — не простаки, прятать кубышки умели.

Ее величество твердая валюта чура-лась низкопробных кредиток, признавала только червонцы, на чем и не сошлись ее держатели с государством. Золотой стандарт налагал на правительство огромную ответственность. Накопленный драгметаллов явно не хватало для осуществления денежной реформы, потому, наверное, ее окончательный вариант заметно отличался от первоначального.

Совнарком выбрал удобный паллиатив: конвертируемая валюта предназначалась только внешней торговле. Уделом внутреннего обращения оставался печально известный "деревянный" рубль, все более терявший в весе и пустивший-таки под откос российскую экономику.

Введение двойной валюты заставило экстренно изымать из оборота червонцы. Заскучавшие было финансисты встрепнулись, им поручалось негласно выкупить обеспеченную золотом денежную единицу, "ходившую" на черном рынке. Однако его завсегдагаи чутко реагировали на конъюнктуру. Червонец мигом подскочил в цене до 15-18 рублей.

Государство ответило на это залповым "выбрасыванием" совзнаков, подкрепленных золотом и серебряной монетой, чтобы понизить стоимость червонцев до номинала. На "хвост" спекулянтам, погнавшимся за монетарным металлом, "садились" гэпзушники. По договоренности правления Госбанка с ОГПУ чекисты обязывались выявлять места купли-продажи золота, масштабы сделок, маршруты передвижения валютчиков.

Финансовая интервенция, милицеские облавы, придание жульническим аферам политической окраски сделали свое дело: жизнь червонца оборвалась в "подростковом возрасте". О форсировании золото-платиновой промышленности пока приходилось только мечтать, между тем внешняя торговля расширялась, и благородных металлов требовалось все больше. Государство, навлекая гнев верующих, запустило руку в сокровищницы храмов, монастырей, пошли с молотка бесценные музейные экспонаты. Для переплавки предметов культа наркомат финансов обзавелся хорошо оснащенным аффинажным заводом.

Уральские золотые прииски усиленно охранялись, но утечка "песка" продолжалась, сопровождаясь вооруженными столкновениями и жертвами с обеих сто-

рон. Бандитизм перерос в серьезную проблему, затруднил наем на золотодобывающие предприятия рабочих специалистов. Те боялись налетчиков, грабивших квартиры и приисковые кассы, нуждавшихся показывать местонахождение богатых гнезд россыпей.

Перестрелки наводили панику, отток старателей с "неспокойных" приисков. Добыча драгметаллов упала. Надо было срочно менять тактику борьбы с преступным миром. Центр ее сместился с торжков непосредственно в промышленную зону. Весной 1922 года, откликаясь на ходатайство Уралпромбюро, НКВД разрешил создать для обслуживания трестов "Уралплатина", "Золоторуда", "Русские самоцветы" подразделения горной милиции. Учредить-то их учредили, а вооружать наладились по остаточному принципу — из резервов местных органов власти. Увы! Не хватало ни карабинов, ни револьверов. Охотничьи берданки, реквизированные у царской горно-полицейской стражи, выглядели жалкими пугачами, в сравнении с первоклассным нарезным оружием налетчиков и скупщиков-оптовиков. Кроме того, милиционерам требовались резвые кони под седлом, а на выделенные средства можно было обзавестись разве что клычками-доходягами, вид которых вызывал издевательские насмешки у преследуемых "хитняков".

Привлечь граждан в ряды милиции было непросто. Постоянное соприсношение с бандитскими "ватагами" сулило увечье или гибель. Да и оклады рядовым милиционерам назначались мизерные. Черновую, трудоемкую работу выполнял, как правило, личный состав милиции, а на завершающем этапе к операциям "подключались" чекисты, нередко приписывавшие лавры исключительно себе.

Весомые плоды приносили разве что крупномасштабные акции: обезвреживание банд, терроризировавших золотодобытчиков, прочесывание местностей с заблокированными уголовниками-рецидивистами, внезапные обыск "подозреваемых" на ярмарках и базарах и т. п.

Со временем вал преступности все-таки затихал, уходил в подполье. Для охраны необъятной государственной, по существу, ничейной собственности, поддержания правопорядка требовались более тонкие методы, основанные на знании экономических законов, психологии разных слоев общества.

В органах милиции начался болезненный процесс смены поколений, разгорались дебаты сторонников классического легитимизма с приверженцами "революционной" законности, уповавшими на

внесудебное вынесение приговоров обвиняемым.

У стражей законности и порядка отвага и верность долгу сочетались с наивно-догматическим мировоззрением, насаждавшимся в школе и профессиональных учебных заведениях. Им внушали, будто с построением социализма преступность отомрет. Надо лишь "перековать" общественное сознание, избавиться от пережитков капитализма. Пока теория вроде бы не расходилась с практикой. Трудолюбивые крестьяне, кустари и фабрично-заводские пролетарии, умелые предприниматели накормили страну, предотвратили экономический хаос.

А вот партаппарату, власть у которого ускользала, нужно было как-то оправдывать "руководящую роль" и комфортное существование. Выход нашли авторы достопамятного лозунга "обострения классовой борьбы", отметавшего НЭП. Провозгласив наступление социализма "по всему фронту", сталинское руководство спешно возводило тюрьмообразное здание административно-командной экономики. Возрожденные в 20-е годы рыночные структуры заменялись централизованной, оборочраченной системой финансирования, материального снабжения и сбыта готовой продукции.

Горная милиция просуществовала недолго. Опека золотоплатиновой промышленности возлагалась на всемогущее ОГПУ. За добычей и реализацией благородных металлов устанавливался строжайший контроль. Стукачество, анкетные и прочие "чистки", навешивание ярлыка "врага народа" отбили охоту подрабатывать на жизнь, либо обогащаться куплей-продажей золота. Были закрыты биржи и многие вещевые рынки, что осложняло манипуляции спекулянтов. Те же, кто, не взирая на опасность, цеплялся за доходный промысел, оказывались в исправительных лагерях Ивделя, Алдана, Колымы...

Итак, наш сюжет исчерпан. Вместе с любознательными читателями автору хотелось бы знать о дальнейшей судьбе уральского золота. Но добыча благородных металлов у нас до сего времени окутана непроницаемой тайной. Газетные статьи представляют собой источник малодостоверный. "Аромат эпохи", полноценную информацию донесут лишь архивные документы, ждущие своего часа в закрытых хранилищах МВД и КГБ. Наберемся терпения, рано или поздно исследователи, проторят туда дорогу.

Владислав КАРЕЛИН

Что в имени твоём, вершина?

Протянулся Урал-батюшка поперек России. Волосы на голове его омываются водами Северного океана, а пятки ног увязли в среднеазиатских песчаных пустынях. Сколько вершин горных в Уральском хребте? Не сочтешь! Большинство гор имеет собственные имена — топонимы. Значительная их часть сохранилась от старинных времен, от народов, что обитали на Урале издревле, еще до прихода русских людей. Другая часть топонимов появилась на карте уже в современные годы. А рождению некоторых названий я и сам поспособствовал, поднимаясь в составе туристских групп на безымянные вершины.

Так появились новые топонимы: пик Уральский следопыт, гора Масленникова, пик Свердловских туристов, гора Блюхера... От восхождения до появления на карте нового имени иногда проходит несколько лет.

А вот в старину было попроще. Прошел манси-охотник мимо неизвестной горы. На склонах ее была хорошая охота. Как указать сородичам удачливое место? Следует дать название вершине. Посмотрит охотник на внешний облик ее, видит — на склонах горы красных камней много, вот и название готово — Красная. Отличить легко. Да и другой охотник, если вздумает, тоже придет к такому же имени. К сожалению, зачастую, не учитывается в наше время эта уникальная особенность местной орониими — системы названий гор, ущелий, холмов и т. д.

Далеко, за Полярным Кругом, в самом северном районе Уральского хребта, на Пай-Хое побывал я на вершине, которая на современных картах носит название Море-Из. Вершина низкоросла — отметка ее всего 467 метров. Но это — высшая вершина хребта Пай-Хой.

Первым название этой вершины записал А. Шренк, совершивший путешествие по Пай-Хою в 1837 году. Он назвал ее Васаимбой и перевел как "Старикова скала". Но при этом не дал никаких пояснений.

Через десять лет на Урале три летних сезона работала Северная экспедиция, организованная императорским Русским географическим обществом. Руководил ею Э. Гофман, профессор геологии Петербургского университета, подполковник корпуса горных инженеров. По итогам экспедиции он написал книгу "Северный Урал и береговой хребет Пай-Хой". В

ней приведены названия многих уральских вершин. Интересующую нас гору он в одном месте называет Воцаимпай и переводит топоним как "Седая гора". В другом месте появляются названия — Вассаей-пай, Вассаи-пай с переводом "Гора старцев". Затем появляется у него и третий вариант названия — Море-пай и пояснение, что коми-зыряне называют вершину наполовину по-русски, а на половину по-самоэдски, так как с ее вершины видно море, и тянется от нее до моря непрерывный ряд гор.

Но эти доводы Э. Гофмана должны нас насторожить. Море видно и со многих других вершин Пай-Хоя. А с горы Море-Из оно скорее угадывается, чем просматривается на линии горизонта. Почему же такое название дано именно этой горе, а не другим, с которых море видно ясно и четко? Смущает и запись тройного названия одной и той же вершины. Вероятно, разные проводники поразному переводили название.

Между путешествиями А. Шренка и Э. Гофмана Пай-Хой посетил венгерский ученый А. Регули. По результатам своих исследований он составил этнографо-географическую карту Северного Урала и хребта Пай-Хой — по просьбе Русского географического общества, которое в то время готовило собственную экспедицию на Северный Урал. Карта А. Регули была поэтому отпечатана в небольшом количестве экземпляров и не вошла в широкий научный оборот. Литографированная карта ныне хранится в рукописном отделе библиотеки Венгерской Академии Наук в Будапеште. О ней любезно сообщил мне сотрудник библиотеки Антал Бабуш. Рукописный же оригинал карты находится в библиотеке Географического общества СССР. С этой рукописной картой мне и довелось познакомиться.

Карта выполнена сборной — на двух листках. Но один из них от частого сгибания распался на два. Разложил я листы карты на зеленом сукне стола, единственного в маленьком читальном зале Общества, отыскал лист, на котором изображен Пай-Хой, и без труда нашел на нем интересующую нас вершину. Надписи на карте сделаны латинским шрифтом. И название нашей вершины в переводе на русский язык обозначает Воецаимпаэ.

Таким образом, у А. Шренка и А. Регули приведены почти одинаковые названия: Васаимбой — у первого и Воецаимпаэ — у второго. Бой и паэ — синонимы, означающие "гора, камень". Это совпадение не случайно. К тому же Регули был лингвистом, изучал языки и к его варианту доверия больше.

Однако совсем недавно А. К. Матвеев в своей книге "От Пай-Хоя до Мугод-жар" принял название вершины в форме

Вэсэй-Пэ, близкой к записи Э. Гофмана. Он усмотрел в этой форме исконно ненецкую очень древнюю топонимическую модель и перевел ее как "Старикова гора" — от вэсако ("старик") или вэсэй ("старый, мудрый"). Однако А. Матвеев поступает не совсем логично: принимает запись, близкую к форме, установленной Э. Гофманом, а перевод сохраняет как у А. Шренка — "Старикова гора". Это не придает убедительности варианту А. Матвеева. Думается, что перевод ненецкого названия вершины как "Старикова гора" не несет никакого смыслового содержания и выпадает из ряда ненецких топонимов, как правило отражающих какую-либо реальность.

А. Матвеев вслед за Э. Гофманом принимает названия, в которых отсутствует буква "М". А в записях внимательных и пунктуальных А. Шренка и А. Регули эта буква присутствует.

В ненецком языке есть слово *васома* — "превосходство над чем-либо, преимущество". Принимая за основу корень слова *васома*, получаем для названия нашей вершины: "гора, (которая) превосходит (все другие по высоте)" или "гора, (которая имеет) преимущество (по высоте перед другими вершинами)". В этих вариантах отражается реальная характеристика вершины — она самая высокая на Пай-Хое. эту ее особенность не могли не заметить наблюдательные самоеды (ненцы). И именно эту особенность вершины они и должны были, скорее всего, отразить в названии. Васома-паэ — наивысшая среди вершин Пай-Хоя.

Любопытно, что одну из записей Э. Гофмана — Вассаейпай, можно вывести из формы, близкой по смысловому содержанию к *васома-паэ*. Однако, нельзя не отметить, что предлагаемые нами варианты перевода названия вершины были бы неприемлемы для А. Шренка и Э. Гофмана, так как оба они не считали гору наивысшей в хребте Пай-Хой. И тот, и другой ошибочно отдавали пальму первенства горе Падаю.

Современное название вершины — Море-Из — наполовину русское, наполовину коми. Идет оно, скорее всего, от Э. Гофмана, так как до него нигде не встречалось. В таком виде название это весьма неудачно. Оно не только неконкретно, но и не отвечает существу своему, о чем уже сказано выше.

Думается, следовало бы обсудить вопрос об изменении названия высшей вершины Пай-Хоя на первоначальное — *Васома-паэ*. Вероятно, решающим здесь должно быть мнение ненцев, кочующих и поныне по северным тундрам. Пусть они рассматривают эти строки как приглашение к обсуждению.

"ТЕАТРОМ ЕДИНЫМ.."

Олег Табаков и его "табакерка"



Андрей Вознесенский в поэме "О" написал о Табакове: "Этот Моцарт плеяды, рожденной "Современником"... Актер милостью божьей — он рожден для сцены и живет в соответствии со своим даром. С этого начался разговор с Олегом Павловичем Табаковым — актером, режиссером, педагогом и гражданином.

— Я могу играть лучше-хуже, но — играю, насколько позволяют физические силы. Мой принцип: "Все отдай", и только в этом случае мои отношения со зрителем могут быть честными. Да, зритель балует меня: когда делишься всем до конца — это вызывает ответную реакцию благодарности. Играть для меня — праздник. Если бы мне не давали этого делать, я платил бы за возможность быть на сцене.

— Олег Павлович, считаете ли вы, что в жизни вам повезло?

— Очень повезло в юности. Мне не приходилось идти на компромисс: мы жили в "Современнике" "спинами вовнутрь", во всем поддерживая друг друга. Олег Ефремов внес существенные поправки в мои представления о театре и человечности, он многому научил. Еще одно везение: мне довольно рано удалось получить экономическую независимость — стал зарабатывать в кино, потом написал вместе с драматургом Устиновым пьесу "Белоснежка и семь гномов"; я мог жить вполне безбед-

но и не протягивать руку за подающим сильным мира сего. Хотя Булгаков утверждал, что "они все равно дадут", я с этим не вполне согласен: это такая же милая ложь, как то, что нашу страну, находящуюся в тяжелом экономическом кризисе, ждут завтра скорые победы.

Не совершая каких-то потрясающих поступков, которые, скажем, делал Сахаров, я все-таки старался жить по совести. Хотя был страх: был, когда поздравлял Солженицына с днем рождения, когда пытался протестовать против нашего вторжения в Прагу в 1968 году... Не такой уж я воинствующий гражданин, но к Праге, например, у меня было свое отношение: в этом городе я добился большого успеха в жизни — играл Хлестакова в течение месяца. Что осталось от того времени?.. Святое чувство покаяния по отношению к себе, желание воздать должное страдальцам, которые несли и пронесли свой крест.

Сейчас иные встают в очередь в пророки или страдальцы — это так дурно, этого надо стыдиться. Сахаров — пророк, не потому, что ждал своей очереди у микрофона, а потому что жизнью своей оплачивал каждую секунду, предшествовавшую его речи. Мне вообще кажется, что в России настоящие писатели, художники, ученые никогда не играли в политические игры.

— Олег Павлович, вам, наверно, часто задают вопрос: почему вы ушли из "Современника"?

— Задают, и я отвечаю. В свое время, после ухода Ефремова, я стал директором театра. Спустя шесть лет обнаружилось, что у меня и у моих коллег разные взгляды на пути дальнейшего развития "Современника". Последним ударом стал отказ товарищей по театру принять к себе мою студию — я хотел, чтобы молодежная студия года на три стала частью театра. Мне говорили, что я человек увлекающийся, разбрасывающийся — сегодня одно, завтра другое; а я всегда работал в театре по любви, и когда это чувство кончилось, я не стал его имитировать. У нас с Олегом Николаевичем были разные периоды в жизни. Было непонимание, была критика "наотмашь" — но наступил момент, и мы просили прощения друг у друга. Так и надо жить и работать единомышленникам, у которых много общего.

— Как складывались ваши отношения с кино? Какие роли вам особенно дороги?

— Из сыгранных ролей — их более семидесяти — больше заметны, наверно те, которые прожиты, пережиты. Такой ролью была первая моя работа — в фильме "Тугой узел" по повести Тендрякова (картина, кстати, 32 года пролежала на полке). Это — очень важная для меня работа, она определила параметры: и профессиональные, и нравственные. Первый мой режиссер Михаил Абрамович Швейцер, человек настоящей культуры, ставивший перед собой серьезные задачи, не только благословил меня в эту дорогу дальнюю, но и подвел к мысли, что кино — серьезное и трудное дело. У него был свой масштаб чувств и оценок; мы с ним, скажем, готовили сцены по тендряковскому сценарию, работая над фильмом "Война и мир", и когда Николай Ростов после проигрыша Долохову объяснялся с отцом, — здесь была параллель, была основа для понимания внутреннего состояния Саши Коноплева в сцене с председателем в "Тугом узле", и мы переносили необходимость этого понимания в новый фильм.

Из других киноработ запомнились роли в фильмах "Чистое небо", "Шумный день", "Живые и мертвые", "Гори, гори, моя звезда", "Каштанка". Из более поздних работ назову фильмы: "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Обломов", "Открытая книга", "Полеты во сне и наяву" — я называю те фильмы, в которых была попытка что-то добавить к знанию о человеке. Кино умеет сводить людей ненадолго, но тесно соединять. Такое содружество, такой союз был с Никитой Михалковым. Мы в чем-то очень совпали, наша человеческая близость, мне кажется, вилна в фильмах — такое не инсценируешь. Я помню, когда мы в последний съемочный день завершали "Обломова" — мы, два здоровенных мужика, стояли и плакали!

О Гончарове хочется сказать особо. Он — не случайный для меня автор. Я вообще очень русский актер. По нынешним временам слово "русский" стало считаться чуть не шовинистическим. Но я считаю себя, с одной стороны, интернационалистом по духу (это сказывается даже в том, как я выбираю себе учеников, и в том, как не приемлю антисемитизм — равно как и самодовольное славянское шапкозакаидательство), а с другой стороны я считаю себя именно русским актером. Я настойчиво, даже настырно пытаюсь исследовать российский национальный характер. "Обыкновенная история", "Обломов", чеховские ленты, "Конек-Горбунок", "Василий Теркин",

записанные для радио "Привычное дело" Белова, астафьевская "Царь-рыба", катаевский "Волшебный рог Оберона" и его трилогия, "Война и мир" Толстого, два романа Достоевского... Во всем это проявилось: меня действительно занимает национальный характер. Как до сих пор занимают щедринский Иудушка Головлев (я думаю, когда-нибудь сыграю его), старик Аким из "Власти тьмы" или пьесы Островского. Мне бесконечно интересны эти исследования.

— Множество детей и взрослых очарованы вашим Котом из Простоквашино... Что для вас есть мультипликация?

— Я бы так сказал: мультипликация это возможность выражать невероятное. Российский сюрреализм имеет мощную корневую основу. Гоголь, при всей своей фантазмагоричности, вырастает из нашей земли. Мера идиотизма, рассматриваемая Щедриным или Сухово-Кобылиным, или Замятиным, или Андреем Белым, или Ремезовым — все это готовые сюжеты для мультипликации. Я думаю, что единственный жанр, в котором со всей полнотой может быть поставлен роман "Мастер и Маргарита" — это мультипликация. А моя работа в этом жанре началась так: читал я авторский текст к сказке "Золоченые лбы" из трехтомника российских сказок Афанасьева. Охальная, но очень смешная сказка.

Я люблю мультипликацию за ее демократизм, за всеобщую доступность, за возможность поозоровать. Я вообще "озорующий" человек, у меня характер такой — я могу сыграть стул, кашу...

— Наверное, этому даже научить нельзя... Кстати, а ваша молодежная студия, которая сейчас стала государственным театром — ей уже пятнадцать лет? Фантастический возраст?.. Большинство студий держатся три-пять лет...

— Если отвечать несерьезно, я всегда хотел иметь много детей, но жене-актрисе это было бы трудно — поэтому мне стало мало своих двоих детей... Я начал заниматься со студентами в очень странное время: мне было тридцать два года, несмотря на известность, я все хотел еще большего самораскрытия; да еще наступил момент, когда два сезона у меня не было интересных ролей. Думал-думал, и сделал спектакль "Женитьба" на курсе, который набирали в школу-студию МХАТ. Я помню, там были разные по дарованию ребята, но я занимался с ними с радостью. Потребность в продолжении своего дела естественна: хочется убедиться, что и знания, и мастерство ты можешь передать в чьи-то руки. Вот так и сложилось наше братство. То время для нас было в самом высоком смысле духовным временем. Помню один из лучших спектаклей Валерия Фокина, сделанный по роману Н. Островского и его переписке — трагический, горький спектакль... Помню замечательный спектакль "Маугли"...

Молодежные студии, при всей их недолговечности, — благо, в результате их появления наши театры просыпаются от спячки. На будущее своего молодежного театра я смотрю очень трезво. В нем две основные группы учеников — 80-го и 86-го годов выпуска. С одной стороны, они молодцы, но уже "хлебнули" признания — бывали за границей, участвовали в фестивалях, снимались в кино; с другой — кто-то остановился в своем творческом развитии, неумело распределил силы. Но есть много одаренных, перспективных ребят, чьи имена уже что-то значат. Студия предполагает: "Не судите строго, мы

еще только учимся". С театра, с молодежного тоже, другой спрос, и он диктует более жертвенный образ жизни, что сейчас не только трудно — почти невозможно.

— Вам повезло: вы имеете дело с лучшей, можно сказать, частью молодежи. Но вас не может не беспокоить все более пугающая бездуховность другой части молодежи, ее возросшая агрессивность, отсутствие нравственных ориентиров?..

— Вы знаете, взрослые люди могут проанализировать любую ситуацию, объяснить ее и понять. Но нельзя так долго обманывать молодых людей и думать, что они оплатят добром за обман. Мы так долго вралы — все вместе, самим себе и нашим молодым преемникам, мы в такое чудовищное состояние привели нашу школу — что если бы спросили меня, в чем спасение, я бы ответил: в школу надо направлять все наши лучшие российские таланты! Надо платить учителю столько же, сколько получают политические деятели — да-да, если мы хотим что-то изменить в нашей жизни. У Леонида Андреева есть такие строки: "Жаждет любовь утоления, и слезы ищут ответных слез, и когда тоскует душа великого народа, чистые сердцем идут на заклятие"— вот таких, "чистых сердцем", и надо звать в современную школу.

Мы уже привыкли, как к шаблону: "Потеряны нравственные устои..." А что такое нравственные устои, нравственные критерии? Обыкновенному человеку сейчас трудно просто излить душу... Кому?! Кто будет слушать? Кто поймет, или хотя бы захочет понять?.. Кто

вынет из души то, чем она больна?.. Одиночество, невозможность высказаться — это же катастрофа. Дружба? — на чем строится нынче дружба? Друзей заменили случайные приятели, выгодные компаньоны. Мне повезло: в 13-14 лет у меня были настоящие друзья, и мы дружили так, как редко дружат. Сейчас мы уже не малы, не видимся по полгода — но друзья остались, с самого детства остались, и я ощущаю мощные связи с ними, их искреннюю и сильную поддержку.

— Что еще помогает в жизни молодым, начинающим жить?

— Любовь. Любовь — это такая защищенность!.. Меня очень любили дома бабушка, мама и еще одна женщина — Мария Николаевна, которая была мне как вторая мать (позднее она воспитала моих сына и дочь). Любовь близких защищает от бед, несчастий, она не позволяет человеку быть ущемленным, она не дает закомплексоваться. Любовь близких — огромная душевная радость и заряд на всю жизнь.

Я пытаюсь перенести эту семейную традицию на моих студийцев. Им надо передать и любовь, и опыт. Когда-то, во времена, когда авиация была менее развита, чем сегодня, командир звена, покачивая крыльями, давал сигнал: "Делай, как я", и это многим спасало жизнь. В нашем деле — та же искусство, другой, не военный — но тоже талант, тот самый опыт, который надо во время успеть передать. В этом смысле моя совесть перед молодыми чиста — я, наверное, обделяя себя отдыхом и забавами, любил и люблю с ними работать.

ГОЛОСА ИЗ "ТАБАКЕРКИ"

Мария Миронова:

...Мы жили иначе, чем сейчас живут многие люди. У нас не было никаких сбережений, мы не гонялись за спектаклями, за концертами. Да, мы играли и по несколько дней подряд; нас было только двое с Александром Семеновичем Менакером — но и у нас был свой маленький настоящий театр, с режиссером, художником, рабочими сцены.

Я не всегда была рада, что мы такое же трепетное служение привили и нашему сыну, потому что Андрей работал ненормально, безумно, не мог жить без работы. Все время у него должна быть новая роль. Другого такого артиста я вообще не знаю. Ведь раньше как нанимали на спектакль — скажем, в "Горе от ума"? Должны быть: герой-любовник, резонер, благородный отец... И вот я видела: Андрияша играл Чацкого; он смог бы с таким же успехом сыграть Молчалина, и Скалозуба, и Репетилова... Мог немного времени спустя сыграть Фамусова. Он мог играть всех! А кроме этого он мог петь, танцевать — вопреки утверждению, что незаменимых актеров нет — они есть!..

Однажды мне предложили сыграть в спектакле "Деревья умирают стоя", но как я могла согласиться играть после Раневской — ее переиграть немислимо, она неповторима...

Я счастлива, что жизнь моя и теперь, несмотря на возраст, связана с театром. Я служу в театре, потому что работать можно в ЖЭКе, еще где-то — но искусству надо служить.

Мой театр сегодня — это театр Олега Табакова. Иногда я боюсь: вдруг мы переедем в большое помещение и что-то потеряем; мне так полюбился наш подвал на улице Чаплыгина, хотя я ненавижу ходить по лестницам. Я с удовольствием прихожу и с удовольствием играю. Я полюбила всех людей в этом театре — и монтажников сцены, и осветителей, и актеров, и художника нашего Боровского... А уж что касается Олега Павловича!

Я не могу представить, чтобы он хоть что-то делал плохо — ни про одну его роль не скажу этого. Он — как и Андрияша: оба они могли играть в плохих картинах, но при этом украшали их своей игрой. Олег Павлович — из тех артистов, за которых никогда не может быть стыдно: он действительно служит искусству, буквально разрываясь на куски. Я всегда говорю ему, как мать — он в сыновья мне годится — что нельзя столько работать, надо поберечь силы. И все время боюсь: вдруг он нас бросит, бросит театр, — тогда мы все пропадем...

Я счастлива в этом театре, потому что в нем стремятся к естественности, в нем умеют уважать зрителя. То, что держит меня сегодня, уводит от отчаяния — безусловно, театр. Он меня подтягивает, помогает сохранить самодисциплину. Как бы паршиво я себя ни чувствовала, особенно в магнитные дни, — встаю, делаю гимнастику, стараюсь не потерять человеческий облик. Что касается лица — никогда в своей жизни я не была у косметолога, не красила волосы, никто не может представить меня рыжей или какой-нибудь другой. Меня приучили к естественности.

Знаете, все мы зависим от своих корней. К сожалению, корни нашей интеллигенции в большинстве своем подрублены, или подсохли, или обломались... Владимир Иванович Немирович-Данченко, перед которым я преклоняюсь, говорил, что поколение в театре живет 25 лет. На век — четыре поколения. Так что и в 2025 году еще не будет такого, подлинно культурного поколения, о котором мы мечтаем. Сейчас просто стыдно бывает за тех, кто называет себя интеллигенцией. Это наша интеллигенция, забыв язык свой, напридумывала всяких "спонсоров", "дистрибьютеров"! Это наша интеллигенция шагает по банкетам, упиваясь дармовым шампанским? Какие-то экзальтированные девицы, купчихи — это наша интеллигенция!? Пир во время чумы... Плохо стало с человеческим достоинством, что-то совсем мало осталось непроданных людей. Слава богу, Табаков никому не продается.

В моем понимании интеллигент — это человек, который на своем месте и в полную меру сил и возможностей добросовестно тянет свою ношу, и — это человек, которому присущи сомнения, скромность, порядочность. Конечно, у меня сейчас ощущение, как и у многих, — что страна погибает... Но в ней всегда были и маяки, и звездочки, по которым можно и нужно равняться. В ней всегда были и ум, и талант, и разумность.

Игорь Нефедов:

— В 1975 году Олег Павлович набирал восьмиклассников и семиклассников. Мы были первым выпуском студии. С утра до вечера мы занимались мастерством в своем подвальчике. Олег Павлович таскал нас к себе домой на чашку чая. Потом повез всех на Вологодчину — чтобы мы поняли, откуда наши корни. Табаков — не просто педагог, он — нечто большее.

Александр Марин:

— Я хорошо помню: мы играли "Две стрелы", когда узнали, что студии не будет... Доигрывали спектакль с отчаянием, с остервенением, и думали: если мы разойдемся по разным театрам — то все равно вернемся. Так оно и получилось: мы "служили" в других местах и продолжали бескорыстно работать в своем подвале. Конечно, потому что есть он — Табаков. У Олега Павловича иной, отличный от большинства, способ жизни, общения; ему непременно надо собрать людей, которым хорошо друг с другом. В нашем театре нет склок, нет фальши, нет притворства. Олег Павлович, максималист по своей природе, очень терпимый к другим людям человек — не приемлет ничего искусственного: тут он становится беспощадным.

Владимир Машков:

— У нас такая атмосфера, что хочется работать. Работать рядом с профессионалом высочайшего класса — безусловно, счастливое начало для многих из нас. Когда я ставил свой спектакль "Звездный час", я удивлялся: ни одной репетиции, которая бы "не пошла"! Где еще могут так работать? И все помогали, и все хотели, чтобы получилось. А Табаков, он — связующий центр; его корректность, доверие, предоставляемая им свобода — это и делает нас актерами и режиссерами.

Став "нормальным, государственным учреждением", табаковцы не утратили непосредственности, свежести восприятия, поразительной своей искренности. В их театре продолжает существовать магия искусства — когда актеры, как в добрые старые времена безраздельно царят над зрительскими сердцами. Это — команда Табакова, которая умеет хранить культуру театра. Здесь нет случайных людей. Вот, скажем, Сергей Никитин, известный всем как бард: если зритель слышит "Молитву" в "Норд-Осте" или песню о Петербурге — то это тот личный "нерв", который привносит сам певец, он уже неразделим в качестве заведующего музчастью и барда... Ефим Удлер — чародей по свету, один из лучших специалистов в стране, недаром он был главным художником по свету во МХАТе... А на актерское дарование у Табакова, как он сам говорит, "есть почти животное чувство" — он находит дарование инстинктивно и интуитивно.

Марина Зудина:

— Пришла к Мастеру, готовая пройти передним колесом, изобразить что угодно! Я сказала ему, не слыша себя: "Могу сплясать, спеть, прочитать..." "Ну, что ж", — улыбнулся Табаков.

Она прочла отрывок из "Трех сестер", пела, танцевала. А потом, под конец сказала в том же порыве и воодушевлении: "Я всегда мечтала заниматься у вас".

Так Марина стала студенткой театрального вуза — в 16 лет. Ей хотелось играть Шекспира, Чехова, а давали Розова... Пьесы, которые подбирал для своих воспитанников Табаков, были замечательные — "Крыша" Галина, "Жаворонок" Ануя, "Полоумный Журден" Булгакова... И все-таки это было не совсем то, что хотелось бы Марине. Может, поэтому она откликнулась на предложение сняться в кино. Первая ее роль была в фильме "Валентин и Валентина". За десять лет она снялась в шестнадцати фильмах, и зрители знают ее как кинозвезду.

Но чтобы увидеть Марину-актрису, нужно непременно прийти в театр Олега Табакова и посмотреть "Обыкновенную историю", а также "Дон Жуана"...

Марина Зудина, Михаил Хомяков, Георгий Николаев, Александр Марин, Евгений Миронов, Елена Майорова — этих "звездочек", учеников Табакова, на удивление много, и все они очень разные, хотя учитель один. И в этом тоже талант Табакова: не подгонять под себя, не ломать, а помочь обнаружить и высветить свой дар. Это не значит, что у мастера с воспитанниками не бывает конфликтов — жизнь есть жизнь: даже очень любящие друг друга люди порой расстаются из-за мелочей, из-за маловажных деталей. А в театре неизбежно столкновение творческих самолюбий...

Да, кто-то уходит, и от этого больно бывает всем. Но это не типичное явление в "табакерке". А бывает, что уходят и возвращаются — тайна сия велика есть"... Талантливоего человека театр непременно востребует обратно.

С. О. П. Табаковым и табаковцами говорила
Людмила ДЬЯКОВА
Фото Вл. ЯКУБОВА

Анатолий МАНЕЕВ

Мудрому слову цены нет

Не раз бывало так, что человек врубал свое имя в историю не главным делом своей жизни, не основной своей профессией, а увлечением, которому отдавал свободное от работы время.

Так, военный врач В. И. Даль вошел в историю русской культуры как составитель четырехтомного "Толкового словаря русского языка", как составитель сборника "Пословицы русского народа", включившего в себя более 30 тысяч шедевров народной мудрости. Купец П. М. Третьяков получил всемирную известность как собиратель картин русских художников; его примеру последовал купец И. Е. Цветков, собиравший рисунки...

Недавно умерший бухгалтер совхоза из села Солдатская Ташла Ульяновской области В. С. Дубровин составил словарь вальщиков-отходников; в его словаре масовского языка, языка арго, более 20 тысяч слов и выражений — в несколько раз больше, чем в знаменитом далевском аналогичном словаре офени — мелкого торговца.

Имена всех перечисленных выше "чудаков" хорошо известны. Меньше известно имя Вячеслава Михайловича Подобина, уроженца села Красный Яр Чердаклинского района Ульяновской области. В. М. Подобин вспоминает дореволюционные годы...

Вечерет... На завалинку к деду Максиму медленно, вразвалку, сходятся соседи — "покалякать", поделиться новостями. Я очень любил поболтаться среди них, — говорил Вячеслав Михайлович. Детство его прошло среди простых людей, деревенских жителей. Его отец был лесником, мать — учительницей. Мальчику рано научили читать, привили

вкус к меткому слову. Он слушал и запоминал народные сказки, песни, загадки, пословицы, заговоры, былины... Стараясь не быть у взрослых на глазах, забивался куда-нибудь в угол и слушал, и запоминал... Отец посоветовал ему однажды: "Всех пословиц не упомнишь — ты лучше записывай". И мальчик начал записывать: "Поговорочкой бреют, а пословицей стригут", "Не на пользу читать, коли вершки хватать"... Скоро вся его записная книжка заполнилась, потом еще одна, третья, четвертая... Не случайно, когда в шестом классе Симбирской гимназии писали сочинение "Народное воззрение на труд по пословицам", его работа была лучшей.

После гимназии был политехнический институт в Ленинграде, работа инженером-строителем в Сибири и Средней Азии, на Урале и в Казахстане; был блокадный Ленинград, работа в Крыму и Донбассе. По проектам Подобина построены десятки заводов, сотни зданий. Но на протяжении всех шестидесяти лет везде и всюду он находил время заполнять свои записные книжки.

Вести запись пословиц и поговорок — трудоемкое и сложное дело. Сказку, песню рассказчик может продиктовать, повторить. Пословицу или поговорку можно услышать только в живой речи, иногда в самом неожиданном месте, а иногда — всего лишь раз. Нередко записывать народные выражения Подобину приходилось на обороте чертежей, на спичечном коробке, даже на носовом платке. Но записать пословицу — еще полдела; труднее, когда их тысячи, десятки тысяч, и когда надо установить: была ли в собрании такая пословица раньше, не повторяется ли?

К 1926 году в собрании В. М. Подобина было шесть тысяч единиц. После войны их число перешло за пятнадцать тысяч. Многие люди, узнав из газет и журналов о Подобине, бескорыстно присылали ему свои записи. "До последних дней, — писал ему

семидесятилетний коллега Г. Павлович из Томска, — я считал себя одиноким в своей страсти. Я почти ослеп. Прошу Вас продолжить мой труд и посылаю 12 тысяч собранных мною пословиц". Несколько тысяч пословиц выслал из Красноярска И. М. Дзога. Ценные собрания прислал педагог В. Кузьмина из г. Петрокрепость, А. Есенкулов из Удмуртии, А. Янютин из Ростова-на-Дону, любители народной мудрости из Киева, Баку, Москвы, Волгограда, Мурманска, Сочи...

Пять тысяч пословиц из собрания В. М. Подобина в сборнике "Русские пословицы и поговорки", вышедшем в 1956 году в Лениздате, — примерно одна сороковая часть всего его словесногоклада. Им собрано более двухсот тысяч пословиц и поговорок 70 народов и народностей нашей страны и свыше 80 народов зарубежных стран.

Латинская поговорка гласит: "Пословица для речи то же, что соль для пища". Когда думаешь о собрании В. М. Подобина, невольно предаешься размышлениям о том, как, каким образом сделать этот клад общенародным, общедоступным? И еще одна мысль преследует, когда знакомишься с жизнью и увлечениями таких людей, как В. М. Подобин, В. С. Дубровин... — стыдно и обидно за себя, за учителей-языковедов: как же так получается, что бухгалтер собирает слова таинственного масовского языка, инженер-строитель увлечен коллекционированием пословиц... Недавно в Палане, центре Корякского автономного округа, я познакомился с еще одним удивительным народным филологом — Татьяной Ильиничной Уркачан: она знает около пятидесяти диалектов языков северных народов, знает названия каждого населенного пункта на диалектах, и это — работа... сторожем!

Виктор ПОПОВ

Гавайская гитара

В 1988 году в Свердловске была издана библиографическая брошюра "Мусатов В., Попов В. Гитара. Обзор и краткая аннотация русских печатных материалов" (68 стр.). Через наши руки прошло около тысячи публикаций о гитаре — книжных, журнальных, газетных, нотных. С прошлых веков до наших дней. И среди них, как ни странно, не оказалось ни одной заметки, рецензии, статьи о гитаре гавайской.

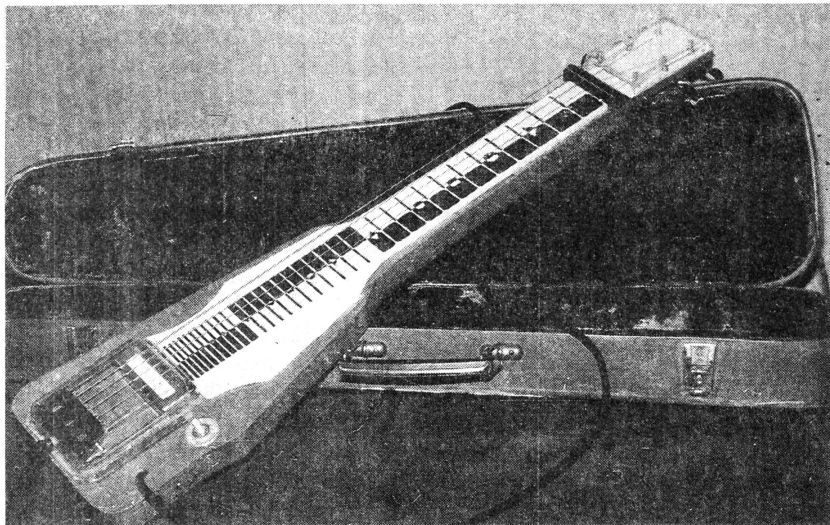
Но пути господни неисповедимы. Летом 1992 года мне, как историку гитары, вдруг задали вопрос: "В. И., не дадите ли что-нибудь почитать про гавайскую гитару?" Я снова перерыл массу материалов — оказывается, ничего **МОНОГРАФИЧЕСКОГО, ПОСВЯЩЕННОГО ТОЛЬКО ГАВАЙСКОЙ ГИТАРЕ**, на русском языке нет. И я решил восполнить пробел — исследовать эту тему и самому сделать такую статью — "Гитара Гавайская". С ее происхождением, историей, бытованием на эстраде и в жизни, с ее репертуаром, исполнителями, радио — и грамзаписями и т. д. За рубежом и в СССР. То есть научное исследование этого вопроса по различным источникам, собрав крохи информации о гавайской гитаре из инструментоведческой и из литературы о композиторах, их произведениях. Используя и переводы из иностранных изданий. Вот — краткое ее содержание.

Гитара Гавайская — это музыкальный инструмент Гавайских островов. Откуда она там взялась и как туда попала, нам сегодня, наверное, установить невозможно. Вероятней всего, с помощью американских колонизаторов она попала в руки народных певцов, народных умельцев, которые изобрели некий новый способ игры на ней, отличающийся от игры на классической гитаре. Затем она обратным путем попала через Америку в Европу и в СССР, где, как всякое иноземное создание, вызвала к себе большой интерес.

Почему гитара с таким необычным способом игры на ней называется "гавайской"? Вряд ли это народный способ музицирования на Гавайских островах и в Полинезии. Скорее, это все-таки чье-то остроумное, оригинальное исполнительское изобретение. Может, эстрадно-циркового плана.

Появившись на советской эстраде в 1929 году, гавайская гитара была в моде в 1930—50-е годы. И даже в 60-е слышали у нас ее со сцены.

В 1920—30-е годы в нашей стране — особенно в Москве и Ленинграде — было много (сотни!) разных инструментальных ансамблей, оркестров, игравших в кинотеатрах, клубах, домах культуры, в летних парках джаз и так называемую легкую музыку. Широко известные и неизвестные, они возникали, распадались, раз-



делялись. Музыканты переходили из одного коллектива в другой, создавали свои собственные оркестры и ансамбли. В их составе нередко были гитаристы, они, как правило, по совместительству, играли и на банджо, и на гавайской.

Работая над исследованием на тему "Гавайская гитара", мне пришлось прослушать немало патефонных пластинок на 78 об/мин, в поисках звуков гавайской. Постепенно сложился целый список "гавайских" исполнителей в их репертуар.

В русском искусстве игры на гавайской гитаре наиболее известными были два музыканта: москвич Иван Дмитриевич Троянов и ленинградец Джон Данкер.

Джон Данкер — популярный исполнитель на банджо и гавайской гитаре в самом конце 20-х и в 30—40-е годы. В книге "Русская советская эстрада. Очерки истории. 1930—1945" (М., Искусство, 1977, с. 27) гавайскому гитаристу уделено три строчки. Вот они: "Ленинградец Джон Данкер, во фраке, с прямым пробором в густых волосах, играл на только что ставшей у нас известной гавайской гитаре. Ее поющий, чуть-чуть носовой звук придавал выступлению необычный, экзотический характер".

Потом мне удалось разыскать статью "Джон Данкер", которая помещена в сборнике статей разных авторов "Воображаемый концерт. Рассказы о мастерах советской эстрады" (Л., Искусство, 1971, с. 38—39). Тут же есть и фото артиста с гавайской гитарой на коленях. Автор статьи Евгений Гершуни — ленинградский искусствовед, один из руководителей ленинградской эстрады 30—40-х годов, в годы Отечественной войны работал в блокадном Ленинграде. Он также автор книги "Рассказы об эстраде" (Л., Искусство, 1968).

"Красавец мужчина, покоритель женских сердец", как писал Е. Гершуни. Артист, появившийся со своей гавайской гитарой на эстраде во времена нэпа, являл своим костюмом, внешним видом, набриолиненным пробором подчеркнутую элегантность. Больше, к сожалению, никаких сведений из биографии Данкера найти не удалось. Неизвестны даже даты его жизни. Но добавлю, что Джон Данкер — это звонкий "иностранец" артистиче-

ский псевдоним ленинградского гитариста Ивана Николаевича Соколова. Факт, также не многим известный.

В статье Е. Гершуни упоминается книжка Бориса Балтера "До свидания, мальчики!" Я взял ее в библиотеке и прочел с большим удовольствием. В ней, в частности, рассказывается о гастролях Джона Данкера в небольшом южном курортном городке на берегу моря в 1936 году...

Гавайская гитара в нашей стране нашла применение в танцевальных оркестрах, на ней зазвучала музыка из популярных кинофильмов, вальсы, танго, фокстроты, мелодии модных в 20—30-е годы песен с их наивными, сентиментальными словами, с трогательно целомудренными отношениями их героев.

В репертуаре Данкера-Соколова были модные песни, танцевальные мелодии того времени. Пьес серьезных, инструментальных, концертного плана не было. А если и игралось что-то не песенное, не танцевальное, то это были пьесы, обыгрывавшие очень своеобразное — мяукающее — звучание гавайской гитары. Что дало повод одному рассерженному слушателю во время такого концерта кинуть ядовитую реплику: "Кошачий концерт!"

Гастроли Джона Данкера проходили по всей стране. Году в 1944—45-м его гавайскую слушали в шахтерском городе Конейске Челябинской области. Выступал он и в Свердловске. Такие концерты, как правило, шли несколько дней. Но то были не сольнне, а сборные концерты, в которых тенор пел "Сердце красавицы склонно к измене" или "Песнь моя летит с мольбою", а фокусник вытаскивал шарики отовсюду, глотал зажженные папиросы и пускал дым из ушей. Но гавайский гитарист в них был все же гвоздем программы. Микрофонов в залах, где проходили такие концерты, тогда, конечно, еще не было, и слушатели наслаждались естественным звучанием музыкальных инструментов или человеческого голоса.

Тут в пору задать, как говорится, вопрос на засыпку: "А гавайская гитара — акустический или электрический музыкальный инструмент?" Правильный ответ: и электрический, и акустический. В 1936 году гавайская была еще акустической, электрифицировали ее позднее. А еще 30 лет назад (в начале 60-х) ленинградская фабрика щипковых музыкальных инструментов им. Луначарского выпускала гавайские электрифицированные гитары, которые уже лишились своего традиционного гитарного резонаторного кузова, выступающих металлических ладов на грифе и укладывались в футляры, внешне очень похожие на футляры скрипичные, только чуть большего размера. Данкер-Соколов играл на акустической гавайской.

Удалось найти несколько пластинок другого представителя русской "гавайской" игры — И. Д. Троянова, о котором еще меньше сохранилось сведений. На патефонных пластинках Апрелевского завода ему прекрасно аккомпанирует тот же пианист С. С. Жак. А записали они "Гавайский вальс" (музыка Ю. Грина), "Колыбельную" из кинофильма "Маленькая мама" (музыка Николая Бродского). На пластинках Ташкентского завода есть в том же исполнении танго "Астры" и "Медленный танец", авторы которых также не названы.

Вообще в те времена очень часто на этикетках грампластинок стояло безымянное "оркестр", "вальс", "танго". Но это были еще цветочки, ягодки ждали впереди. Чуть позднее, в 40-е годы, когда Жданов и его подручные повели борьбу с так называемым космополитизмом, с "поклонничеством перед Западом", когда возникли известные зловещие постановления ЦК ВКП/б/ 1946, 1948 годов,



задавшие многих деятелей искусства, культуры, наступило время, которое Леонид Осипович Утесов назвал "временем разгибания саксофонов".

Экзекуции подвергались не только люди, но и модные танцы того времени. Смешно и нелепо. И жутко. Как многое в истории нашей многострадальной "экспериментальной" России. Чтобы не было преклонения перед иностранщиной, ненавистные цензуре — не наши, не советские! — слова переменили на эстраде и на пластинках на нейтральные: "фокстрот" — на "быстрый танец", "вальс-бостон" — на "медленный вальс", "танго" — на "медленный танец". Тот же Утесов горько шутил с эстрады, начиная свои концерты: "Выступает эстрадный оркестр... В девичестве — джаз..."

Свердловские музыканты тоже отдали в свое время дань гавайской гитаре. Анатолий Евгеньевич Струков (1919—1984), много лет руководивший оркестром русских народных инструментов в Свердловском Дворце пионеров и музпедучилище, играл в довоенные и послевоенные годы (до 1950 года) в кинотеатрах перед сеансами на гавайской гитаре, разъезжал по области с концертами гитарного ансамбля, в котором играл как солист, выступал и во дворцах культуры Свердловска, в том числе — в ДК железнодорожников. И Владимир Васильевич Адамов, свердловский педагог-гитарист (ныне тоже, увы, покойный) брал в руки этот инструмент.

Старожилы рассказывают, что в свердловском Саду имени Вайнера, который в свое время был в нашем городе весьма популярной концертной площадкой, выступал во второй половине 30-х годов со своей гитарой Д. Данкер-Соколов. Если поднять подшивки местных газет того времени, может быть, обнаружатся следы его пребывания в нашем городе. А в сезоне 1951—52 гг. перед свердловчанами играл инструментальный дуэт: гавайская гитара и аккордеон. К сожалению, имена этих артистов установить не удалось.

Фото и фоторепродукция
Алексея БАБИЦКОГО,

■ Самая глубокая в Сибири

Всем известно, что вершина Сибири — гора Белуха — расположена на Алтае. А вот о том, что самая глубокая из разведанных природных шахт за Уральским хребтом — тоже алтайская, знают немногие. Это — пещера Кек-Таш.

Тысячелетия живет человек в здешних местах. Археологи, нашедшие немало древнейших стоянок, казалось бы, все вокруг облазили и исходили... Но открытия продолжают.

Уже лет десять барнаульские и новосибирские спелеологи ездят на плато Камышла, в двенадцати километрах от Чуйского тракта. На Камышлинском плато одну за другой разведали несколько шахт. "Опасную" — до сорока пяти метров, "Дузт" — до шестидесяти пяти, "СОАН-техническую" — до ста сорока, "Кек-Таш" — до 340 метров. Кек-Таш в переводе с алтайского — "Голубой камень". Вода здесь пробилась себе путь в толщах голубого мрамора — можно представить, насколько это красиво!

Отметка "340", возможно, не последняя. На этой глубине дорогу дальше — вернее, глубже — преградил сифон. Но "Голубому камню" в рекорсменах оставаться недолго. В Горном Алтае уже обнаружены и более перспективные карстовые районы.

А. ВЛАСОВ

■ Возраст — не помеха

Сообщение о том, что горный инструктор из Церматта в Швейцарии совершил восхождение на знаменитый пик Маттерхорн — 4477 метров — не вызвало бы особого интереса у телеграфных агентств, если бы не личность альпиниста. Им оказался 90-летний Ульрих Индербинден, который может по праву считаться старейшиной альпинистов Европы. Пик Маттерхорн — одна из высочайших вершин Альп, уступающая лишь Монблану, Монте-Розе и Вайсхорну, была впервые покорена 125 лет тому назад. Этому юбилею и посвятил свое восхождение альпийский ветеран.

С. НЕФЕДОВ

■ Петушиные бои

Известно, какие петухи драчуны! Летом в деревне то и дело вспыхивают их драки. На это редко кто обращает внимание, разве что хозяйка плеснет водой на драчунов.

Но в иных местах петушиные бои относятся к числу азартных развлечений, и на это зрелище собирается масса зрителей. Любители петушиных дуэлей утверждают, что эти бои имеют древнюю историю. Во Францию и Бельгию это увлечение пришло, как полагают, из Испании в XVI веке. Тогда же начали их устраивать и в Англии, но вскоре — в XVII веке — были запрещены в числе других азартных игр.

Чуть ли не каждую неделю во многих французских городах (особенно в северных департаментах) устраиваются "маленькие корриды". В 1963 году власти попытались было запретить их, однако возмущение поклонников было таким бурным, что через год запрет пришлось отменить.

Поединки петухов проходят не просто так — есть строгие правила на их счет.

Во-первых, боевые петухи выступают в трех весовых категориях: легкой (до 4-х килограммов), средней (4—5 килограммов) и тяжелой (свыше 5-ти). Во-вторых, бой не должен продолжаться больше восьми минут. В-третьих, регламентируется петушиный "нокаут", это когда петух лежит, не поднимаясь, больше минуты. Установлены размеры ринга: 4 на 5 метров.

Конечно, в поединках участвуют выученные петухи — "профессионалы". Еще в "цыплячем" возрасте у них срезают гребешки (чтобы не мешали при драке). Затем постоянные тренировки.

Состязания проводят в разных местах — где в игровых залах, где на открытом воздухе или в каком-нибудь сарае. В центре ринг, который часто окружают металлической сеткой.

До начала боя петухов держат закрытыми в ящиках, чтобы не видели своих противников и не начали "заводиться" раньше времени. Затем бойцов выпускают на ринг и захлопывают дверцу. Кстати, запрещено натравливать птиц друг на друга.

Петухи не сразу бросаются в бой — некоторое время они гордо прохажива-

ются взад и вперед, с победоносным видом поглядывая на соперника. Постепенно свирепея, сближаются и... атака! Выпятив грудь вперед, петух с шумом рвется к противнику. Наступившая в зале тишина тут же сменяется возгласами разгоряченных болельщиков и любителей пари. Они издают то крики торжества, то вопли негодования: все зависит от того, на какого бойца сделали ставку. Перед рингом сидят члены жюри — главный арбитр и два его помощника.

А что же на ринге? Там все примерно то же, что и на сельских дворах. С той только разницей, что у боевых петухов больше ярости, силы, да еще на ногах металлические шпоры (острые как кинжал, но не длиннее 52 миллиметров), меткий удар которых может намертво свалить соперника.

Идут минуты, и вот один из "дуэлянтов" лежит бездыханный. В зале новый накал страстей — идет подсчет выигравшей и проигравшей. После небольшого перерыва выпускается новая пара.

Петушиные бои популярны и в других частях света. Любят устраивать "маленькие корриды" в селах Вьетнама и на Филиппинах. Там чаще всего ринг не ограждается, так что почувствовавший поражение боец может ретироваться с ринга еще до завершения поединка. Не применяют там и шпор, нет и тотализатора.

Сильные страсти разгораются на петушиных боях в Южной Америке. Например, не так давно на "стадионе" в Боготе (Колумбия) владелец побежденного петуха, раздосадованный поражением своего питомца и недовольный действиями жюри, выхватил револьвер... В результате перестрелки было убито несколько человек...

Между прочим, некогда — особенно в конце прошлого века — устраивали петушиные бои и в России, чаще всего на ярмарках. Приводили бойцов на лужайки, шпор не применяли, забивать соперника до смерти не позволяли.

В. РОЩАХОВСКИЙ



Сколько лет оленю?

Сколько лет этому оленю — тысяча, а может, больше? Во всяком случае он родился на камне под резцом человека еще во времена неолита. Древний художник нарисовал на камнях и фантастические лица — "личинами" их называют, и отобразил многих животных, обитающих в дальневосточной тайге. Все эти писаницы обнаружены близ села Сикачи-Алян в Хабаровском крае. Академик А. Окладников нашел их тут и назвал заповедное место музеем под открытым небом. Описанные им сикачи-альянские писаницы стали известны всему миру. Как образцы древнего художественного творчества, они входят во многие альбомы, упоминаются в монографиях; полюбоваться на них приезжают ученые из других стран. Хабаровское бюро путешествий и экскурсий разработало в Сикачи-Алян несколько маршрутов — хотите, приезжайте на автобусе из Хабаровска, хотите — на метеоре по Амуру.

Сикачи-Алян — село национальное. Здесь живут нанайцы. Краеведы местных школ собирают материалы о далеком прошлом своего народа. Все поколения ребят приходят на берег Амура к писаницам и всякий раз будто прикасаются к тайне.

Сколько лет этому оленю?

Зачем его нарисовал древний художник?

И как уберечь эту картинную галерею от разливов Мангбо-реки — как называют Амур нанайцы?

В последние годы он широко разливается, затопляет пойму — и эти наводнения наносят урон окружающему, в том числе и писаницам...

Фото Сергея БАЛБАШОВА



